

К 73

Г. Н. КОТОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

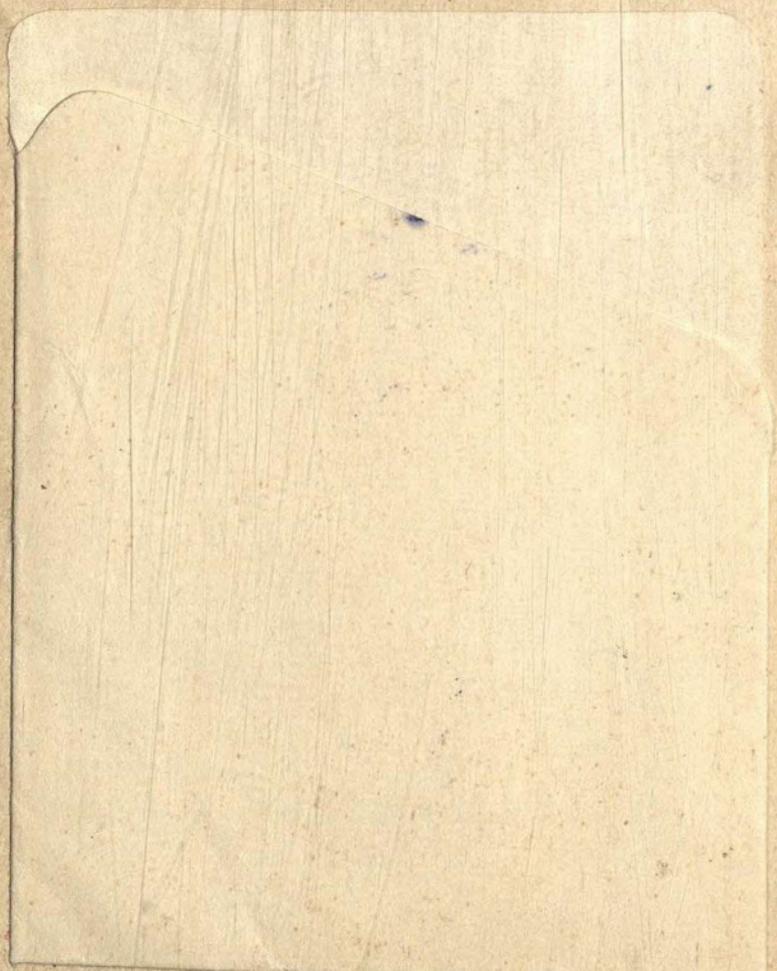
СТАРОГО

БОЛЬШЕВИКА

В БОРЬБЕ
ЗА
РЕВОЛЮЦИЮ

#

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ • 1930



ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА

Под ред. А. ЕЛИЗАРОВОЙ и Ф. КОНА

Г. Н. КОТОВ

9747:323.2+92

06

В Б О Р Ь Б Е

З А Р Е В О Л Ю Ц И Ю

~~76224~~

ВОСПОМИНАНИЯ
РАБОЧЕГО-БОЛЬШЕВИКА

С предисловием

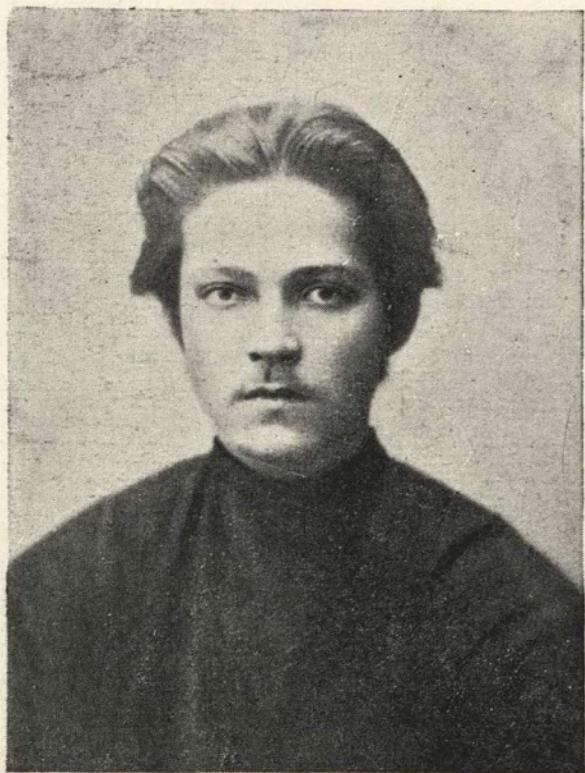
Людмилы Сталь

МЗООУЧ.

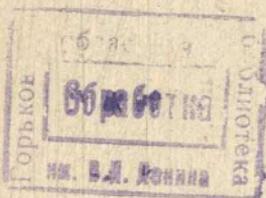
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

Типография Изд-ва «Молодая
Гвардия». Ленинград, В. О.,
5 линия, 28. Заказ № 4454.
Главлит № А-71007. Тираж
10.100 экз. Печатн. лист. 3 1/2.





Г. Н. КОТОВ
В молодые годы



ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОТОВ

(Краткая биография)

Григорию Николаевичу Котову было всего 43 года, когда неожиданная смерть унесла его из наших рядов. Он родился 6 января 1886 г. в селе Копосове Нижегородской губернии в большой крестьянской семье. Его отец был наполовину крестьянин, наполовину рабочий, летом он работал на крестьянской работе, зимой как рабочий—на Сормовском заводе. Огромная семья заставляла эксплуатировать и детей, и маленький Котов работал очень много на крестьянской работе, работал очень тяжело. С 15 лет Котов поступает на Сормовский завод учеником слесаря. Этот огромный завод с давних пор был гнездом революционной работы, и там Котов учится делать революцию. 16 лет он был ранен на работе, испортил себе ногу, это заставило его пролежать много месяцев в больнице, но вместе с тем это несчастье углубило его знания, расширило его горизонт: лежа в больнице, он мог читать нелегальную литературу и учиться быть революционером.

В 1903 г., это значит, когда ему было 17 лет, Котов был арестован за распространение прокламаций. Тюрьма для революционера в то время была

лучшей школой. Тюрьма не только не ослабила его интереса к рабочему делу, тюрьма закалила его характер. Он вышел из тюрьмы убежденным марксистом — социалдемократом, который никогда не сворачивал с тех пор с революционного пути. Его учителем в тюрьме был Яков Михайлович Свердлов.

1905 г. застаёт Котова в Сормове среди активных революционеров. Находясь под надзором полиции, он не прерывал своей революционной работы — организации рабочих кружков, распространения социалдемократической литературы, подготовки вооруженного восстания.

За участие в вооруженной обороне против погромщиков Котов был арестован и жестоко избит. Его ожидали долгое тюремное заключение, может быть и каторга, так как ему предъявили обвинение в убийстве трех человек, но октябрьская всеобщая забастовка 1905 г. и настойчивость сормовских рабочих открывают двери его тюрьмы. Он снова среди рабочих, снова работает, выковывает свои большевистские убеждения, участвует в революционном восстании в Сормове. Поражение восстания заставляет Котова перейти на нелегальное положение и скрыться из Сормова.

Весной 1906 г. он уезжает в Пермь, на Урал, где он проводит большую работу на уральских заводах.

В 1907 г. товарища Котова — совсем молодого революционера, молодого по годам, а не по опыту — Уфалей-Киштымская организация выбирает делегатом на Лондонский съезд нашей партии. На пар-

тийные съезды, которые созывались тогда за границей, наша партия выбирала наиболее опытных и закаленных, тех, кому можно было особенно доверять. И вот в числе тех, кому партия особенно доверяла, попал Котов.

Но Котову не удалось побывать на Лондонском съезде. По дороге в Пермь он был арестован и попал в ужасные тюремные условия, в так называемые «николаевские роты», которые были похуже любой каторги. Там Котов просидел около двух лет. Потом пошел в ссылку, на поселение в Енисейскую губ.

В ссылке он пробыл до 1912 г. Когда грянул первый выстрел царских опричников по забастовщикам на Лене, когда ленский расстрел вызвал чувство протеста и негодования по всей России и волна забастовок заколебала царский трон, напомнив 1905 год, Котов не мог дольше оставаться в ссылке. Он бежал из Сибири и поехал туда, где жил Ленин, где издавалась наша заграничная большевистская печать, где был штаб революции.

Здесь Владимир Ильич говорил и писал о том, что нужно готовиться к новым боям. Ленский выстрел был сигналом к новому подъему рабочих масс.

Тяжело жилось эмигрантам за границей. Трудно сказать, где было хуже: в сибирской ли тайге, или в богатом, развратном Париже, где российских революционеров встречали с пренебрежением. Такое отношение было не только со стороны парижского мещанства, которое очень неохотно давало нам квартиры, которое боялось русских революционеров и ненавидело их. Свысока относились к нам товарищи

из французской социалистической партии. Они не понимали наших революционных большевистских методов борьбы и с пренебрежением нас спрашивали: какие же вы революционеры, если вы до 1913 г. не свергли еще своего царя и до сих пор еще его рабы?

Тяжело было жить и материально, потому что, кто не имел ремесла, тому приходилось голодать.

Тов. Котов в числе других товарищей поступил в организованную эмигрантской кассой школу электромонтеров.

Окончив ее, он работает на заводах, сначала в окрестностях Парижа, а затем в Лондоне.

Во время империалистической войны, когда угар войны (шовинизм) овладел массами людей, когда II Интернационал изменил знамени международной солидарности рабочих, когда даже часть большевиков ушла на фронт защищать буржуазную французскую республику, тов. Котов остался интернационалистом, остался большевиком. В это время он был выбран в бюро заграничных организаций, как один из товарищей, которому можно было поручить это ответственное дело.

Февральская революция застаёт Котова на заводе в Лондоне, и только в мае 1917 г. ему удалось приехать в Петроград (Ленинград), где партия поручает ему работу секретаря металлистов Выборгского района, самого революционного района Ленинграда. Когда Котов приехал в Россию, он ни на минуту не колеблясь стал на точку зрения Ленина, на точку зрения передовых рабочих масс, которые говорили

о том, что Февральская революция ничего не дала рабочему классу, что ему нужно бороться дальше, чтобы свергнуть капиталистов, чтобы положить конец империалистической войне.

Как всегда, Котов беззаветно отдавался работе и надорвал свое здоровье, ослабленное сидением в тюрьмах и ссылке. После Октябрьской революции Котов заболел туберкулезом легких. Его отправили в санаторий в Финляндию. Там врачи ему говорили, что если он сможет лечиться полгода без перевыва, он будет здоров. Но революция не дает возможности лечиться. Наступление немцев принудило очистить все санатории в Финляндии от наших товарищей.

В марте 1918 г. Котов приезжает на Всероссийский съезд советов в Москву, где решался тогда вопрос о Брестском мире (мире с Германией). Он целиком стоял на Ленинской точке зрения.

После съезда советов Котов уже не хотел больше лечиться и поехал работать на свой любимый Урал, которому он отдал столько лет своей молодой жизни.

На Урале тов. Котов проделал огромную работу. Он отбросил всякие заботы о своем здоровье и работал как секретарь губ. комитета партии большевиков. Главная тяжесть по организации партии лежала на Котове. В его послужной список, если выразиться канцелярским языком, должна быть вписана и эта интересная страница: он организовал в Уфе первый в РСФСР съезд крестьянской бедноты. Прошло 13 лет после Октябрьской революции, и сейчас организация крестьянской бедноты является важнейшим вопросом в партийной работе. Первый опыт организации бедноты

был сделан Котовым в Уфе. Трудное это было дело, так как социалисты-революционеры хотели подчинить бедноту своему влиянию. На этом он еще больше надорвал свое здоровье, он был совершенно без голоса, но отдыхать нельзя было. После съезда бедноты заседал губернский съезд советов, на котором надо было продолжать борьбу с с.-р., которые опирались на кулаков и подкулачников. Даже левые с.-р. были временными попутчиками Октября, с мая 1918 г. они восстали против большевиков и поддержали наступление чехо-словаков на Волге. Когда чехо-словаки подошли к Уфе, красные уфимские отряды отступили до Николо - Березовки, где тов. Котова выбрали членом революционного комитета, который заменил собою губернский исполнительный комитет советов, так как на фронте такое громоздкое учреждение работать не могло.

Дальше тов. Котов работает в политотделе армии, участвует в вербовке рядов Красной армии, которая начала тогда формироваться. Но непрерывное наступление чехо-словаков заставляет отступать наши красные войска, и Котов очутился в Вятке. Здесь он провел большую работу в течение 1918 и 1919 гг. Он был одновременно секретарем городского комитета партии и заведывал губернским отделом труда, неся ряд других партийных обязанностей. Он не щадил своих сил, работая за троих, за четверых. Постепенно силы его подтачивались, и он слег тогда почти на целый год. К туберкулезу легких присоединился туберкулез почек.

Дальнейшая его жизнь с 1920 по 1929 г. была огромной борьбой с туберкулезом, который постепенно

сжигал его организм, и страшным желанием работать. Григорий Николаевич очень любил жизнь, горел на революционной работе и никогда ни на одну минуту не терял веры в победу социализма. В перерывах между болезнью он снова и снова бросался в работу и везде проявлял неожиданные способности. Так, в Москве, куда он приехал в 1921 г. с Северного Кавказа, он заведывал учебной частью высшей школы профдвижения при ВЦСПС и выполнил эту работу прекрасно. Когда эта школа слилась с свердловской, Котова назначили членом коллегии Верховного суда. Здесь он работал недолго. Здоровье ухудшалось, и его отправили в Крым. Но как только ему стало лучше, областной съезд ВКП(б) Крыма избрал его членом областной контрольной комиссии. Проверка деревенских ячеек опять выводит его из строя.

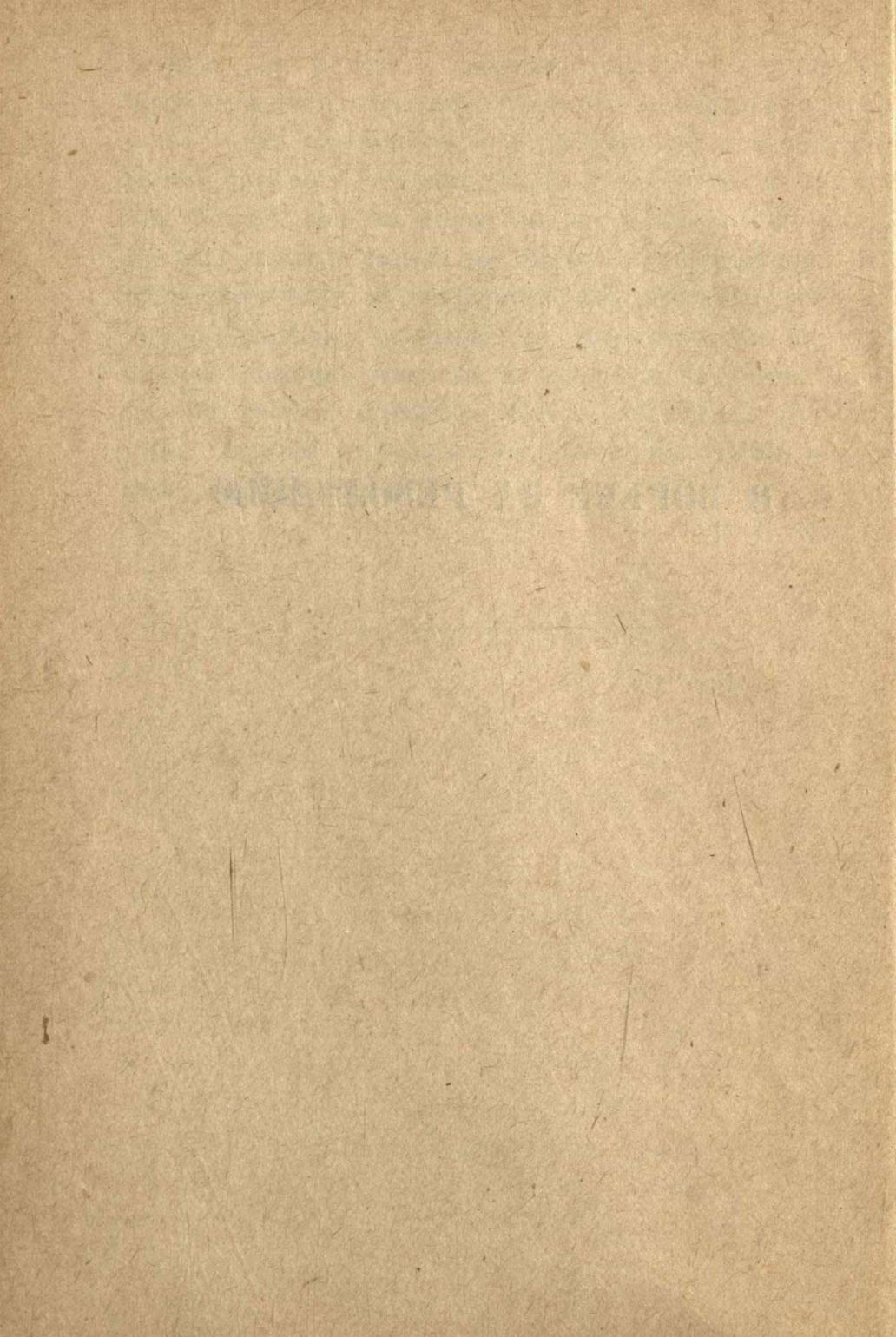
Последние два года Котов жил в окрестностях Москвы, среди крестьян и рабочих, был их любимым старшим товарищем. До последней минуты он вел кружки политграмоты и текущей политики, и у его гроба стояли его ученики, которые еще накануне учились у него.

Тов. Котов умер 11 апреля 1929 г. Мы много теряем в последнее время старых большевиков. Котов был одним из лучших. Обаятельный человек в личной жизни, честный до педантичности, цельный по натуре, твердый по характеру, вместе с тем он был необыкновенно скромн. Тов. Котов никогда не считался с тем, какую работу ему поручает партия. Он не был честолюбцем, который гнался за чинами и орденами. Он был членом Верховного суда, что не

мешало ему потом с необыкновенной скромностью браться за небольшую работу. Но что особенно поражало в нем — это жизнерадостное настроение и необыкновенно хорошее товарищеское отношение к людям. Тов. Котов, как бы много он ни работал, как бы он ни был занят, никогда не относился формально, бюрократически к товарищам. Он интересовался их личной жизнью, оказывал им моральную и материальную помощь, никогда не забывал человека. Этой чертой своего характера Котов напоминал тов. Ленина, верным учеником которого он был до последней минуты своей жизни.

Л. Сталь

В БОРЬБЕ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ



I. ДЕТСТВО

Помню я себя приблизительно с шести-семи лет. В то время семья состояла из пяти ребят, бабушки и матери. Отец, как говорят, был сам-восьмой. По возрасту я был из ребят третьим; старшей из нас была сестра, затем брат, а за мной еще две сестры.

Отец был полурбочим и полукрестьянином. Зимой он работал на заводе, а летом занимался крестьянством. Как рабочий, отец по специальности был сборщик-котельщик. Как крестьянин он был самым деловым и хозяйственным мужиком: авторитет его был очень веский. Все то время, как я помню, мы жили безбедно, так как семья отличалась трудолюбием и аккуратностью. Крестьянство моего отца велось, главным образом, на земле, арендованной у попов.

Из жителей нашего села Копосова, находящегося в трех километрах от Сормовского завода, исключительно крестьянством никто не занимался, а для большинства крестьянство служило лишь подспорьем, и им занимались, главным образом, старики и женщины, а мужчины все работали на заводе и только немногие из них, как мой отец, на лето бросали завод. Вот поэтому и приходится сказать, что наша семья была исключением. Поэтому же и мы, ребята, не

проводили своего детства так, как его проводили все окружающие.

В детстве нам приходилось чрезвычайно много работать, и за исключением зимнего времени все мои воспоминания о детстве связаны именно с работой. Уже с 7-8 лет все мы обязаны были с ранней весны заниматься подготовкой картофельных семян и выращиванием капустной рассады для многих десятков тысяч кочней капусты. При сухой ранней весне и при заморозках работы по выращиванию рассады очень много. Сажание картофеля и капусты, их окучивание и выкапывание, сенокос, заготовка дров и вообще все работы по крестьянству в целом лежали, главным образом, на нас, малышах. Дело это прошлое, и теперь скажу, что работа для нас, малышей, была очень трудной. Конечно, родители тоже не бездельничали; наоборот, они работали очень много и давали нам очень хороший пример, благодаря чему нам и не была эта работа невтерпез, — тем более, что все мы были здоровыми ребятами, никто из нас не был растяпой или отсталым в работе. В 11-12 лет мы во многих работах, и в частности в обращении с лошадью, были самостоятельными. Соседи нас хвалили и ставили в пример другим детям.

Среди братьев и сестер по темпераменту я был живее всех, а потому и шаловливее. Особенно старший брат отличался от меня своим характером, и мне всегда ставили его в пример. Его отличительной чертой всегда было перетерпеть молча, затаить в себе всякую обиду и даже побои родителей. Зато я

никогда не любил оставаться в долгу и всегда умел отплатить обидчикам.

Отец и мать были грамотными, поэтому считали нужным учить и нас. Девяти лет я начал ходить в школу; первую, а также и вторую зиму был лучшим учеником, но дальше стал отставать от других. И так было до окончания двухклассной школы, т. е. в течение пяти лет.

Так как за лето мне некогда было хотя бы немного читать, тогда как другие имели эту возможность, я по истечении лета оказывался отставшим от других. Догонять было трудно, и все из-за той же работы дома. На моей обязанности лежало кормить лошадь, чистить двор и привозить и отвозить отца, работавшего на заводе. Со второго года учения я стал певчим церковного хора; как и мои родители, я был верующим. На пятнадцатом году кончил школу. Это был первый выпуск двухклассной школы (до этого школа была одноклассной). Благодаря рослости и физическому развитию я выделялся среди товарищей, а потому нередко слышал такие замечания: «Пора уж не учиться, а работать на заводе». Дома я постоянно слышал в виде упрека слова: «скубент» и «антилигент» за то, что я произносил слова правильно, не коверкая и не сокращая, как это делали все жители. Так протекло детство до поступления на завод.

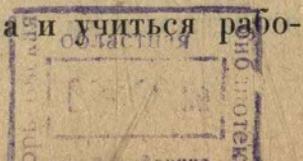
II. ВСТУПЛЕНИЕ В СЕМЬЮ РАБОЧИХ

Пятнадцати лет я поступил на работу на Сормовский завод. Благодаря дядькам, которые были высококвалифицированными рабочими старомеханического цеха, а потому и имели «вес», мне удалось попасть в этот же цех. Как правило, всякий мальчик, поступивший на работу ставился не тотчас же на тисы или на станок, а прежде его ставили в контору, в кладовую, в инструментальную и пр.; потом, спустя около года, переводили непосредственно к работе. Так было и со мной: я попал в инструментальную.

В отличие от конторы в инструментальной было значительно лучше служить, так как там меньше всего бываешь на посылках у всякого начальства. На обязанности моей и других служивших со мной мальчиков было выдавать рабочим инструмент, получать его обратно, записывая в инструментальную книжку и в журнал. На нашей же обязанности лежало и приводить в порядок инструменты, чтобы всегда можно было всякий инструмент найти на своем месте. Для записи выдаваемого инструмента имелся специальный конторщик, но так как конторщик этого делать не успевал, да и не стремился к этому, то этим же приходилось заниматься и мальчикам.

Ввиду того, что я был грамотнее других ребят, на меня чаще всего и взваливалась эта запись. Я очень не любил этого дела и всегда предпочитал возню с инструментом. Конторщиком был старик, по фамилии И. Кукушкин. Как старший над нами по чину и по возрасту он позволял себе нами командовать; очевидно, по старой привычке он считал необходимым держать нас всегда в страхе, а поэтому всегда на нас кричал, рычал и т. д. Ясно, что мы все его не любили, мало слушали и устраивали ему всякие каверзы, и в этом отношении особенно отличался я. Одной из них было то, что к его табурету мы подстроили иголку с веревкой, протянутой в слесарное отделение: проделали мы это в ночную смену. И вот утром, когда пришел старик на занятия и сел на табурет, один из слесарей дернул за веревку. Старик от укола подпрыгнул и начал рассматривать подстроенную штуку. Его злобе не было границ. Собрав все принадлежности вместе с табуретом, он все это хотел отнести к заведующему цехом, дабы добиться расправы с злодеями. Кругом все рабочие катались со смеху. Пришел, наконец, мастер инструментальной В. К. Гордеев. Старик к нему, а тот выслушивает и улыбается. В результате после допроса, учиненного нам мастером, мы отделались тем, что получили по две-три пощечины, и тем дело кончилось.

На ряду с шалостями каждый из нас не забывал и обязанностей. Я особенно любил работать в ночной смене, так как ночью можно было в свободное время заниматься не только шалостями, а и учиться рабо-



тать на тисах—благо, что слесарное отделение было рядом. Что касается знания инструментов, их места, а также назначения, то на этот счет я собаку съел. Только потом, спустя много времени, я заметил, насколько велики были в то время восприимчивость и способность усваивать. Находясь в инструментальной, можно было входить в сделку с рабочими, выдавая им или лучший инструмент для исполнения работ или просто отдавая безвозвратно инструмент знакомым рабочим, получая за это мзду. Однако этого я не делал.

Как и все односельчане, я приходил на ночь домой. Жалованье получал 30 копеек за десятичасовой рабочий день. Если бы пришлось жить на этот заработок самостоятельно, то ясно, что я бы голодал; но, живя с родителями, я голода не знал. Так проработал больше года. Сильно хотелось перейти работать на тисы и стать слесарем, и именно слесарем, так как у нас дома состоялось какое-то непроизвольное соглашение, что я должен быть слесарем, дабы втроем (отец—котельщик, брат—токарь и я—слесарь) быть мастерами на все руки. Я сильно одолевал мастера, просясь у него на тисы, и он обещал скоро это сделать.

В то время, кроме работы, меня мало что интересовало. Обычно как заводской парень я любил вечеринки, гулянки и немного выпить. Мрими друзьями были ребята, также работавшие на заводе. В отличие от старшего брата я частенько приходил домой поздно вечером; за это нередко получал от отца подзатыльники. Всюду, где сталкивался с братом, я

оказывался более заметным, чем он, а этого не полагалось по возрасту, а потому я и получал выговор от родителей. Мать мне тогда еще говаривала: «Не сносить тебе, дитятко, в целости головы».

На одной из ночных смен в марте 1902 г. со мной произошел несчастный случай. Выполняя работу по выдаче и приему инструмента, я был приглашен одним из взрослых рабочих помочь ему нарубить свинца для литья кувалд, на что я охотно согласился. Нарубив некоторое количество свинца, рабочий пошел в кузницу лить кувалды. Я же остался в инструментальной и продолжал рубить свинец один. Моим инструментом были ручное зубило, молоток и кувалда. Свинец был в больших плитах — болванках. Чтобы дело шло успешнее, я сначала забивал зубило в свинец молотком, а потом сразмаху бил кувалдой. По малоопытности я не предполагал, что так делать нельзя и что это грозит большой опасностью. Разумеется, мне недолго пришлось ждать беды. Одним из ударов кувалдой я попал по зубилу вскользь, отчего оно со страшной силой выскочило из болванки свинца и ударило мне в колено правой ноги. Тут-то я и присел.

Боль была невероятно сильная. Минут десять я корчился от этой боли, скрипя зубами, а придя в себя, спохватился перевязать рану платком, чтобы остановить кровь. Несмотря на боль и на рану, я не думал идти в контору цеха, чтобы попасть в приемный покой. Я не пошел, надеясь на благоприятный исход и без помощи. Однако боль усиливалась, и мне пришлось, в конце-концов, пойти в контору цеха за больничной запиской.

Пока писали больничную записку и добывали подпись ночного мастера, прошло не мало времени. Итти один я уже не мог. В помощь был дан чернорабочий. Кое-как, со все усиливающимися болями, я дошел, наконец, и до приемного покоя. Дежурный фельдшер, осмотрев рану и сделав перевязку, сообщил, что придется лечь в больницу. В больницу не хотелось, однако пришлось согласиться; была заказана лошадь, чтобы отвезти меня, а чернорабочему, который привел меня, я наказал передать односельчанину просьбу известить родных о постигшем меня несчастье.

В больницу меня повезли уже поутру. По дороге от боли я чуть не кричал караул. Первый день в больнице я еще ходил на костылях, а на второй и этого делать уже не мог. Температура с каждым днем повышалась. При всяком движении приходилось испытывать сильные боли. Никакие компрессы не помогали. Так продолжалось полмесяца. Решено было делать операцию—вскрывать образовавшееся нагноение. Родные меня нередко посещали: по их совету, да и с моего согласия, перед операцией я принял «святые тайны». Когда я очутился на операционном столе, мне достаточно было дать несколько капель хлороформа, и я заснул. Проснувшись, я ощущал столь же сильную, но другую боль, чем до операции; на другой день на перевязке я увидел, как мне искромсали колено: вместо бывшей малюсенькой ранки получились колоссальные раны, да еще с дренажами. Температура сразу стала падать и скоро приблизилась к нормальной. Раны очень быстро стали заживать, и я начал поправляться.

Был, очевидно, уже конец апреля, так как больница стала усиленно готовиться к 1 Мая: заготавливался перевязочный материал, больные и персонал шушукались о том, что предстоит резня. Здесь я в первый раз услышал о социалистах, о демонстрации 1 Мая, так как до настоящего времени никакого представления о политике не имел.

И вот пришел день 1 Мая. Все были настроены тревожно; ждали раненых и избитых. Однако ожидания были напрасны. В больницу никто не поступил. Поздно вечером стало известно, что была какая-то демонстрация с красными флагами и с песнями, кричали: «Долой царя», и что этих социалистов полиция побила, разогнала и многих арестовала. Только здесь я задумался: почему такая особенная маевка была устроена и что за социалисты такие появились?

Узнать мне было не легко. Все старались говорить об этом меньше, так как знали, что это запрещено и что есть какая-то тайная полиция, которая следит и подслушивает за всеми. Так мое любопытство и не было бы удовлетворено, если бы не двое больных, которые мне растолковали, что это была за демонстрация и кто в ней участвовал. Однако понял я немного, так как все это было для меня ново.

К половине мая раны на ноге зажили, а ходить я еще не мог. Ступать больной ногой все еще было больно, а согнуть в колене еще больнее. Стали применять мне распаривание колена в горячей воде, делали массаж и электризацию, чтобы вызвать движение в колене. Понемногу стал ступать на ногу, но сги-

бать ее не мог. В больнице надоело, и я по истечении трех месяцев выписался. Дома были сделаны попытки своими средствами вылечить ногу, но все это было напрасно. Нога так и осталась без движения в колене. Уж ясно было, что я останусь хромым навсегда. Пробыв дома лето, к осени я мог свободно ходить только с палкой в руках.

Надо было призадуматься над тем, что делать дальше. Родители были также заняты мыслью о том, куда меня пристроить. Быть слесарем, казалось мне, я не могу, так как хромоту стоять все время на ногах не под силу. На какую-либо другую физическую работу рассчитывать тоже нельзя было. Совместно с дядей решено было учить меня чертежному делу. Почему именно чертежному, а не конторскому, скажем? Да просто потому, что это ремесло ближе подходило к мастеровщине, и потому, что там заманчивее карьера. С помощью тех же дядей мне удалось поступить в качестве ученика чертежника в цеховую чертежную. Как-будто бы все вошло в колею. Родители успокоились на том, что я пристроен к делу и что со временем выйду в люди.

Дяди, что содействовали моему поступлению на работу, были братьями матери; жили они в самом Сормове, очень близко от завода. Нередко я оставался у них ночевать. Сначала потому, что в плохую погоду далеко и трудно было ходить домой, а потом это служило лишь отговоркой, а на самом деле причины были другие. Моим товарищем из односельчан, с которым я больше всего дружил и гулял, был некто Сергей Утятников или, как его еще звали, Кули-

ков. Товарищ этот также работал на заводе в паровозно-механическом цехе. В этом цехе, как в новом, работало много приезжих рабочих с разных концов страны.

Утятников не раз приносил домой и показывал мне запрещенные листки; где-либо в бане или в отдельной избе мы их читали. В листках этих, насколько я помню, писалось о том, как плохо живет рабочим, как рабочие от этого бунтуют, за что их сажают в тюрьмы, избивают и пр. Были листки с описанием того, как царь и его чиновники угнетают народ, и что вместо царя нам нужна республика. Большого от Утятникова я получить не мог, так как и сам он большего не знал.

Зимой 1902 — 1903 г. через Утятникова же я познакомился с его товарищами по работе — с Пашей Мочаловым и с Мишей Курановым, а потом с Алешей Урыковым. Вот эти ребята тогда уже были более знающими и занимались политикой всерьез. От них мы научились песням «Дружно, товарищи, в ногу» и «Марсельезе». Упомянутый Урыков работал как раз в том же цехе, где работал и я. Это мне было удобно, так как я стал с ним видеться каждый день на работе. От Урыкова же я стал получать для чтения книги, которые приносил домой и стал ими зачитываться. Увлечение книжками не было у нас в доме обычным явлением, поэтому на меня и на мои книжки было обращено внимание. Слухи о том, что есть политиканы и бунтовщики, не признающие царя и бога, доходили и до таких людей, как мои родители. Отец догадывался, что книжки, которые я читаю,

не те, какие он привык видеть, а какие-то особенные, и подозревал меня в соучастии с «политиканами». Мне было запрещено приносить такие книжки домой, а также и читать.

В эту же зиму я стал посещать вечернюю школу черчения, что занимало два вечера в неделю. В дни посещения школы домой на ночовку я не приходил, так что свободы было еще больше, и контролировать меня родителям было труднее.

Время приближалось к весне 1903 г. Несмотря на препятствия, которые ставили родители, я продолжал интересоваться политикой. На селе изредка находили разбросанными листки. Некоторые догадывались, что занимаемся этим мы с Утятниковым. Однажды даже у меня с отцом был крупный разговор. Отец говорил, что дружба с Утятниковым не доведет до добра, а потому я должен перестать с ним водиться, а если я этого не сделаю, то «в случае чего пеняй на себя: посадят — сиди, а я к тебе не загляну». С моей стороны возражений на это никаких не было, так как мне с отцом спорить было нельзя: или принимай, что он хочет, или молча делай, как знаешь.

Незадолго до 1 Мая, однажды я и Сережка, как я звал Утятникова, отправились в поле. В условленном месте встретились с Мочаловым и Курановым. Выбрав поукромнее местечко, все сели. Куранов и Мочалов вытащили из-под рубашек и из-под поясов пачками прокламации. Началась работа, так как каждый листок приходилось складывать вчетверо. Сидим и складываем — только шум идет от шороха бумаги.

Через полчаса все готово. Понятно, я знал, куда иду и что предстоит делать. Как только стало темно, расстав по карманам и под пояса все сложенные листки, мы с Сережкой направились на конец нашего села, а другие пошли обратно. Придя на условленное место и разделившись на обе стороны улицы, мы начали свою работу. Мы не просто разбрасывали прокламации, а аккуратно подсовывали листок под ворота или под дверь крыльца. Действуя таким образом, я в первой трети села натолкнулся на одного из односельчан, по фамилии Ковшина. В тот момент, когда я собирался подсунуть листок в подворотню его дома, он из него вышел. Я, немного смутившись, сделал вид, что просто прохожу мимо, и, только пройдя несколько дворов, увидел, что этот человек остался у своего дома и не преследует меня. Я решил опять продолжать свое дело и благополучно обошел все село.

Домой я пришел довольно поздно. На другой день пошли по селу разговоры о найденных прокламациях, причем особенно интересовались тем, кто их разбрасывал. Односельчанин, который повстречался, заметил, что я разбрасывал листки, и стал об этом рассказывать другим. Урядник, живший в нашем селе, добрался до источника, из которого распространялись сведения, и узнал, что виновником этого дела был я.

Спустя дня четыре, при выходе из завода, я был остановлен и приведен в канцелярию пристава, где застал своего урядника Шарапова.

Первым вопросом урядника ко мне было:

— А Коншина ты знаешь?

Это сделано было, очевидно, с целью поймать меня врасплох. Я же, признаться, в тот момент и не подозревал, что тут дело идет о разбросанных мной листках, и на последний вопрос ответил:

— Какого Коншина?

Однако при следующих двух-трех вопросах я понял, в чем дело. Как я уже упомянул, задержан я был через четыре дня после разбрасывания листков, тогда как вопросы о том, где я был, относились только к прошедшим двум дням. Случилось это, очевидно, потому, что урядник хотел показать, насколько он бдителен, что так скоро ловит преступников.

Благодаря такому случаю я мог сослаться на то, где я был в тот день, когда по данным урядника были разбросаны прокламации. Однако это не помогло, и я был арестован. С работой на Сормовском заводе я на этот раз покончил навсегда. Больше я уже не мог вернуться туда, потому что существовал циркуляр, который приказывал всякого, замешанного в политике, увольнять с завода без права поступить вновь.

III. ТЮРЕМНОЕ КРЕЩЕНИЕ

Урядник направил меня в каталажку. Время было уже позднее. Сначала в каталажке я был один, а потом кого-то посадили еще. Первое, что меня мучило и чего я боялся, это, чтобы я не наговорил чего-нибудь во сне и чтобы меня не подслушивали. Боялся также, что поколотят. Но, очевидно, разговоров во сне я не вел, меня не поколотили. Наутро под конвоем отправили в Гордеевку к приставу.

Обычно задержанных в Сормове направляли прямо в Нижегородскую тюрьму. Со мной же поступили иначе, так как преступление имело место не в Сормове, где был свой особый полицейский пристав, а в Копосове, которое находилось в ведении пристава Гордеевского участка. В Гордеевке мне опять пришлось ночевать в каталажке. На следующий день был допрошен приставом; все сказанное было записано писарем, а через некоторое время я снова под конвоем совершил путешествие в город. Куда меня вели, я не знал. Когда же мы подошли к дому, в ворота которого собирались войти, я прочитал маленькую вывеску: «Нижегородское жандармское управление».

Что это было за учреждение, я плохо понимал. Вижу — всюду чистенько; люди какие-то подтянутые

с лоском, а сапоги со шпорами. Сидеть в жандармском пришлось часа три-четыре. Вскоре вызвали в комнату, где сидело два человека с погонами и аксельбантами. Вежливо пригласили сесть. Первые вопросы: чей я, кто и откуда? Это, так сказать, обычные вопросы, к которым я уже привык. Потом предложили мне самому писать, как было дело, как и за что меня арестовали. Писать сам я отказался, мотивируя тем, что я плохо и медленно пишу и к тому же расстроен. После этих объяснений стали записывать сами. От рассказа же, как было дело, я не отказался, однако рассказал не все. Моим рассказом допрашивающие, как видно, не удовлетворились, стали задавать вопросы. Видя, что из меня трудно что-либо выжать, они прибегли к подробному выпрашиванию о том, о чем я уже дал показания. Каждую мелочь, каждую подробность выпросили, вроде того, где я был в такой-то час, кого я встречал и где, их имена и т. д. Допрос длился больше часа. Удовлетворения на рожах этих вымогателей я не видел.

Наконец меня вывели из их комнаты туда, где я сидел до допроса. Минут через десять меня снова вызвали, усадили опять на стул и снова принялись расспрашивать меня, не вспомнил ли я еще чего-либо и не желаю ли чего-нибудь добавить.

Так как я отказался еще что-либо добавлять, допрос к явному неудовольствию жандармов пришлось окончить.

Почему я все время на допросах держал себя на-чеку и старался во что бы то ни стало не

впутывать других? О том, что могут арестовать, разговоры у меня с товарищами, конечно, бывали и раньше, и о том, что полиция всегда старается узнать о соучастниках и тем запутать попавшего к ним в лапы еще больше, я тоже знал. Но все это я знал так, между прочим. Специальной же выучки на этот счет у меня не было. Как заводский парень, я, как видно, сейчас же смекнул, как будет лучше.

В сопровождении одного жандарма меня из жандармского отвели в первый корпус нижегородской тюрьмы. Первый раз в жизни я был арестован и попал в тюрьму. Немножко жутко было заходить под своды тюремных ворот. Привели в контору. Началась запись в книги. Потом появился надзиратель с большой связкой ключей. Дело было уже после поверки, а потому ключи находились на руках старшего надзирателя. После конторской процедуры жандарм ушел, а надзиратель с ключами привел меня к воротам тюрьмы. Привратник открыл дверь, и я с надзирателем очутился в тюрьме. Увидел церковь; потом предо мной оказался сводчатый коридор, по сторонам которого расположились большие двери с тяжелыми железными запорами, замками и с дырой в каждой половине двери. Навстречу нам шел коридорный надзиратель. Старший подал коридорному один из ключей, и тот открыл дверь № 4.

Несмело зашел я в открытую дверь, которая сейчас же за мной захлопнулась; слышался шум запираемой двери, и я вдруг почувствовал себя в

норе и за многими замками. «Ну, — думаю, — крепко засадили». И, действительно, камера была маленькая; с одной стороны — нары, а от нар до стены неширокий проход к окну с решоткой; почти от самого пола начинается свод и кончается посредине потолка, так что камера, действительно, напоминала нору. На нарах и у окна стояли люди; я был шестым или седьмым. Первыми вопросами были, как всегда: откуда, как фамилия и пр. Получив с моей стороны ответ, новые мои знакомые предложили мне располагаться, как дома, и указали мне мое место.

Слышится снова бряцание ключей, открывается дверь и просовываются матрац, подушка и одеяло, со словами: «Это для новичка».

Когда возня надзирателя утихла, я услышал стук в стену. Один из нашей камеры взял ложку и тоже принялся стучать, а потом, приложив ухо к стене, послушал и сказал в дыру, проделанную в стене:

— Привели новичка из Сормова.

Сижу я на нарах на своем месте и осматриваюсь кругом. Окружающие — кто читает, кто играет в шахматы, а кто просто лежит и курит. На окне много лиц, а на столе чайники. Спрашивают, не хочу ли я есть. Несмело отвечаю:

— Немного хочу, если у вас есть.

Дают мне немного хлеба и указывают на яйца. Взял я все это и закусил. Предложили покурить — не отказался. Глазами я изучал все, окружающее меня, а мысли были заняты разрешением того, что будет со мной дальше: что мне грозит, долго ли я просижу, а главное — что делается дома.

Наутро услышал в коридоре шум. Соседи еще не встали, но уже проснулись, широко распахивается дверь и раздается зычная команда «смирно».

Все к этому моменту поднялись со своих мест и встали около нар, каждый против своей постели. Зашел чиновник с кокардой и с погонами, а с ним надзиратель; пересчитали нас и обратно. Шум в коридоре уже не прекращался, двери камер то открывались, то закрывались. После чаепития принялись кто за книги, кто за шашки и пр. Предложили и мне, если я хочу, взять книжку. Помню, попала мне книжка под заглавием «Овод» (Войнич); очень понравилась. Второй книжкой были рассказы Серошевского, тоже показались интересными.

Некоторых товарищей по камере я по фамилиям помню и сейчас, например, Павлычев, с длинными волосами, кажется, семинарист, Голованов — фотограф из Канавина. Через несколько дней я акклиматизировался настолько, что стал понимать многие из всевозможных арестантских уловок и ухищрений. Познакомился также и с некоторыми товарищами из соседних камер. В то время политических сидело довольно много. Сидели они и по общим камерам и по башням; узнал я, что еще сидят политические в бараках, которые были на другой стороне, за стеной. Помню, в одной из башен сидел тогда Н. Гурвич. Вслед за мной через день или два появилось в других камерах много вновь прибывших. Это были, главным образом, сормовцы. Как оказалось, накануне 1 мая в Сормове произведено было очень много арестов. Аресты эти были просто изъятием

всех подозрительных, так как боялись, что будет устроена, по примеру прошлого года, демонстрация.

В воскресенье вместе с другими вызвали на свидание и меня. Пришел брат. Мы были оба смущены. Разговор шел о домашних делах, причем я узнал, что мать очень сильно заболела и все плачет из-за меня; отцу тоже что-то нездоровится, и он очень рассержен на меня.

— За что тебя посадили? — спрашивает брат.

Тут вмешивается надзиратель, говоря:

— О деле говорить не полагается.

На этом и кончилось свидание.

Сидеть в то время было весело. Несмотря на запрещение, в каждой камере пели, шумели и пр. Состав политических был исключительно молодой, в возрасте от 18 до 30 лет.

Недели через две я снова был вызван в жандармское на допрос. Все те же вопросы были заданы, и все те же ответы я давал. После этого второго испытания меня снова привели в тюрьму.

Однажды мне говорят:

— Собирайте вещи и пойдете.

Меня перевели в бараки, о которых я слышал как о чем-то лучшем и привилегированном по сравнению с корпусом. Со мной перевели некоего Горбунова, а в камере, куда мы попали, оказался еще один арестант. Нашим третьим компаньоном был не кто иной, как Яков Михайлович Свердлов. Встретил он нас очень радушно и весело. Первым делом спросил, кто мы и откуда, а затем познакомил нас

с порядками. Порядки в бараках, действительно, немногим отличались от порядков в корпусе.

Очень скоро я перезнакомился со всеми товарищами, сидевшими в бараках. Мы с Горбуновым были самым сырым материалом — самыми неразвитыми по сравнению с другими. Горбунов, будучи молодоженом и попав в тюрьму буквально без всяких оснований, частенько ныл и нервничал, чем вносил диссонанс не только у нас в камере, а и вообще в бараках.

Яков Михайлович на второй же день предложил нам не терять дорогого времени и начать с его помощью заниматься политической экономией. Я охотно изъявил согласие. Горбунов, немного поломавшись, тоже согласился. Каждый день мы предварительно выслушивали от Якова Михайловича краткое объяснение той главы, которую нам предстояло прочесть, а потом уже читали эту самую главу. Занятия подвигались, должно быть, очень недурно, так как после каждого чтения мы шли дальше. В чтение книг Я. М. внес некоторую систему. Он сам спрашивал у других книги и сам же определял, что мне дать вперед и чего совсем не давать. Это, в своем роде, была для меня хорошая школа. По вечерам, когда спадала жара, многие забирались на окна и, высунувши голову за решетку, беседовали между собой. Один товарищ очень хорошо пел петухом и каждый вечер удостаивал нас своим искусством.

Так шли дни за днями. По истечении приблизительно двух недель меня снова вызвали в жандармское. Посидев в комнате ожидания некоторое время, я был вызван на допрос.

— Что же вы не сознаетесь? Ведь вас видели ваши же товарищи. А то, что вы были в этот вечер в другом месте, никто не подтверждает.

На этот раз, не знаю почему, я был очень раздражен и отвечал:

— Как может кто-нибудь говорить, что видел меня, когда я на самом деле в этот вечер не был в своем селе?

— Да, но, ведь, вы и не указываете, кто бы мог удостоверить, что вы были в другом месте.

— Больше я ничего не могу сказать, и мне некого больше назвать, чтобы удостоверить мое пребывание не в Копосове.

Дальше задают мне вопрос: с кем я сижу в камере. Говорю:

— С Горбуновым и со Свердловым.

— Ах, вот, оно что. Так это Свердлов вас там просвещает? Это не дело.

Ведут снова в тюрьму. В конторе тюрьмы я слышу такое распоряжение.

Взять все вещи Котова и перевести в корпус, в первую камеру.

Я был очень опечален разлукой с Яковом Михайловичем. С этого момента я еще определеннее понял, чем для меня было сидение в бараках с таким товарищем, как Я. М. Свердлов, и чего боятся жандармы. Их слова: «Ах, вот оно что. Так это Свердлов вас там просвещает» мне врезались в память настолько сильно, что я никогда их не забуду. Где бы я ни встречал после того Якова Михайловича или его имя, я постоянно вспоминаю эти многозначительные слова. Переоценить результаты моего пребывания

с Яковом Михайловичем и занятия его со мной я не могу. Это было мое первое знакомство с политической экономией. Здесь впервые я более или менее основательно обрабатывался. Передо мной открылся новый мир. Не только жандармы заметили происшедшую во мне перемену, а замечали это и товарищи. Хоть и недолго удалось мне посидеть в этот раз и позаниматься, однако, след остался на всю жизнь.

Очутившись в корнусе, да еще в большущей камере один, я чувствовал себя очень неважно. К одиночному заключению еще не был приучен, но это было бы еще полбеды. Беда меня мучила с другой стороны. Камера, как я уже упоминал, была большая, да к тому же еще только-что после ремонта. Блох было несметное количество. Целые ночи напролет, бывало, я охочусь за этими блохами. Все мое тело через 3—4 дня было в шишках и в коросте. Прихода доктора я ждал с нетерпением и, рассказав, в чем дело, сообщил, что в этой камере я оставаться не могу. Меня в тот же день перевели в камеру № 5, где сидело сормовичей человек 11—12.

За это время из дома ко мне приходили на свидание опять брат и дядя с теткой. Мать со дня ареста расхварывалась все больше, а отец попрежнему таил злобу. На одном из свиданий от брата и от дяди я узнал, что мать умерла. Тут, на свидании, огорошенный, я еще не вполне сознавал, что потерял самого дорогого человека — свою мать. Когда же пришел в камеру и товарищи спросили, что нового принес я со свидания, то лишь в этот момент уже со слезами на глазах я ответил:

— Да, есть новость: у меня умерла мать.

А дальше я уже просто заплакал, укрывшись одеялом.

Спустя месяца два после 1 Мая, некоторые сормовичи и нижегородцы были освобождены; им не было предъявлено никакого обвинения, и арестованы они были только, чтобы изъять их перед праздником Первого Мая.

Разница режима между корпусом и бараками очень не нравилась сидевшим в корпусе. Явилось законное желание добиться такого же режима. Выходило, что в бараках сидят как-будто привилегированные или какие-то другие политические, чем в корпусе. Началось обсуждение: добиваться ли корпусу такого же режима, какой сейчас существует в бараках, а если да, то какими средствами. Обсуждение это велось с корпусниками, с башенниками и барачниками. Большинство было за то, чтобы борьбу начать, применив раньше переговоры с начальником тюрьмы. Если это не поможет, то утром не вставать на поверку. Если и это не приведет к желательным результатам и нас поведут в карцер, то в карцере мы объявляем голодовку. Так и было сделано. Начатые через делегацию переговоры с начальником тюрьмы никаких положительных результатов не дали.

В одно прекрасное утро приходит поверка; раздается крик:

— Смирно, встать!

Никто не встает. Слышен голос помощника начальника:

— Не встают? Стащить их!

Влетают в камеру надзиратели и давай работать: кого попало берут за ноги и пытаются стащить с нар. Все пытаются сопротивляться. Тогда слышится команда: — В карцер их.

Послушная свора надзирателей рада была выполнить распоряжение начальства. Стащив нас с нар, надзиратели вытолкали нас из камер в одном белье. Карцер находился глубоко-глубоко в подземельи. По пути туда многим попало по нескольку зуботычин. Перед впуском в карцер всех обыскали, отобрав даже пояса.

Так было дело с нами, сидевшими во второй камере. Товарищи других камер наблюдали за происходившим в нашей камере, а потому знали наперед, что их ждет та же участь. И действительно, вслед за нами были приведены и остальные камеры, не исключая и башенников.

Карцеры нижегородской тюрьмы отличались своим ужасным состоянием: абсолютная темнота, цементный пол, со стен течет, крысы громадной величины беспрерывно шныряют и т. д. в том же духе. Еще накануне, предполагая, что, может быть, придется попасть в карцер, мы энергично запасались табачком и спичками, рассовывая это все по швам белья. Запас этот пригодился: с помощью обломанных спичек нам удалось немного ориентироваться в карцере, а также изредка и покурить. Переключку с товарищами соседних камер мы имели все время. Если не ошибаюсь, мы были размещены в трех камерах.

С нами в камере сидел товарищ Гурвич из башни. По инициативе его мы повели разговоры с соседями о том, как быть дальше. После некоторого обмена

мнениями было решено потребовать к себе помощника начальника и заявить ему:

«Мы требуем отмены вставания на поверку, а также команды «мирно»; удлинения прогулки, устраивать их два раза в день, не выносить на день постелей и т. д.»—словом, всего того, чем пользовались сидящие в бараках. По этому поводу мы объявили, что требуем к себе на объяснение прокурора.

Объявив надзирателю о своем решении вызвать помощника начальника, мы стали петь песни, чтобы скорее пришел помощник. Долго ждать не пришлось. По порядку каждая камера заявляла одно и то же. Приняв наше заявление, помощник удалился. Петь мы продолжали, за что в одну из камер подлили воды. Тогда пение наше усилилось. Не получив на заявление ответа, а также не дождавшись к обеду прокурора, мы объявили голодовку, отказавшись принимать хлеб и воду, которые полагались сидящим в карцере.

На второй день пришел товарищ прокурора. От имени всех переговоры с ним вел в присутствии нас всех товарищ Гурвич. Первое, что было заявлено, это то, что нас по пути в карцер били, а затем были изложены наши требования и что все это мы подкрепляем со вчера объявленной голодовкой. Выслушав наше заявление, товарищ прокурора сказал, что наши требования удовлетворить нельзя, так как в корпусе установлен режим не только для политических заключенных, а и для уголовных и что двух режимов вводить нельзя. С доводами товарища прокурора мы не согласились. По уходе товарища прокурора наше пребывание в карцере продолжалось. Как вообще

полагается, через трое суток из темного карцера мы были переведены в светлый, т. е. нас посадили в наши же камеры, предварительно отобрав все вещи. Голодовку продолжали.

Через сутки пребывания в светлом карцере нас снова повели в темный, на прежнее место. Продержав на этот раз сутки, нас выпустили из карцера и по возвращении в камеры вернули все отобранные вещи. Голодовка продолжалась и после карцера. На воле о голодовке уже знали. Родственники сидящих осаждали и жандармское и прокурора. На седьмые сутки голодовки, за исключением меня, Дружкина Василия и Ухова, а также сидевшего в башне Гурвича, все голодавшие были вызваны в контору и освобождены из тюрьмы.

Такой оборот дела нас, оставшихся втроем (Дружкина, Ухова и меня) обескуражил; мы просто растерялись. Горячо обсуждали вопрос, как быть дальше с голодовкой. Рассуждали, что хоть прямая цель голодовки и не достигнута, однако, достигнута более важная цель, хотя бы и косвенная—освобождение почти всех товарищей-корпусников; а раз так, то зачем же нужно продолжение голодовки?

Ответили мы себе на поставленный вопрос прекращением голодовки. Дело теперь прошлое. Особенно дурным наш поступок я не только теперь, а и раньше не считал. По существу наши мотивы за прекращение голодовки были довольно серьезны, но недостаточны, чтобы на полпути бросить борьбу. Главная наша вина была даже не та, что нельзя было бросать на полпути борьбу, а та, что мы сделали это,

не сговорившись предварительно с тов. Гурвичем, который оставался сидеть в башне и голодать. Вот в чем мы поступили скверно, т. е. неорганизованно.

Тов. Гурвич, как стойкий человек, будучи взрослым и выдержанным борцом, продолжал голодовку. После голодовки—не помню точно, но сравнительно очень скоро—выпустили Дружкина, а потом и меня с Уховым, так что и это говорит за то, что если бы мы не прекратили своей голодовки, то и нас через день, через два выпустили бы и тем сорвали бы голодовку. Уже потом на воле, встречаясь с тов. Дружкиным, я вспоминал о нашей голодовке, и мы оба оставались при одинаковых мнениях о нашем поступке. Голодовка, по крайней мере, в нашей камере была полной: действительно, никто ничего не ел, а воду, конечно, пили. Семь суток без одной ночи мы голодали.

Закончили голодовку вечером. Объявили о решении кончить голодовку. Через несколько минут к нам пришел надзиратель, ведавший выпиской продуктов из лавки. Выписали мы французских булок, масла, сыру и достали кишок. Когда выписка была принесена, аппетит разыгрался. Казалось, съел бы целую корову. Набросились, как собаки, и давай уничтожать. И что же? Каждый из нас съел самое большее $\frac{3}{4}$ французской булки и больше не смог. Пришлось остановиться, хотя глаза остались голодными. Прошло не больше часа, как всех снова пробрал голод. Желудки как-будто взбунтовались. Сели опять есть, уничтожили еще по полбулки и опять затор. На этот раз мы и покончили.

Встав утром, мы были опять невероятно голодны. Так было несколько дней. Сейчас же после голодовки ни у кого из нас видимых или, вернее, ощутимых последствий не наблюдалось. Истощали же очень сильно. Как-то через пару дней я был вызван в жандармское и встретил там родственников сидевших товарищей. Они ужаснулись, увидев, что со мною стало.

На этот раз из тюрьмы я был освобожден, но мне сообщили о том, что я подлежу высылке, причем предложили выбирать место жительства по собственному выбору за исключением Москвы и Петербурга. На подобное предложение я ничто же сумняшеся сказал:

— Ничего я выбирать не буду и хочу поехать только к себе домой.

На вопрос: почему я не хочу выбрать, ведь домой меня отпускать нельзя, я ответил:

— Я человек искалеченный, хромой, а потому мне странствовать не годится.

Посоветовавшись минут 15, жандармы согласились отпустить меня на поруки отца.

На этот раз дальше тюремной конторы я не был отведен. Тут же был дан приказ дежурному надзирателю принести все мои вещи. Вместе со мной был выпущен из тюрьмы и Ухов. Получив вещи и услышав: «Можете идти», мы в одно мгновение оказались за стенами тюрьмы на долгожданной воле.

Это было первое мое тюремное крещение. На этот раз я просидел около трех с половиной месяцев.

IV. ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ

Выйдя из тюрьмы, мы с товарищем Уховым направились в Сормово. То, что я очутился на свободе, меня не особенно радовало, так как предстояло пережить дома многое. Еще по пути в Сормово я встретил Пашу Мочалова, того самого, который снабдил меня листами для распространения. Встретились мы очень тепло.

Отца я не застал; дома были братья и сестры. Увидав меня, сестренки заплакали, вспоминая о смерти матери, и в слезах рассказывали о предсмертных заботах обо мне матушки. Через некоторое время приходит и отец. Первыми его словами при виде меня были:

— Ну что, дитяtko, явился? Себя-то не жалел, так пожалел хоть бы мать с отцом. Чего ты с этим достукался? Что теперь будешь делать?

На этом он закончил. В ответ с моей стороны не было произнесено ни одного звука, чтобы не подливать масла в огонь. Такой тактики я решил держаться заранее, и это было правильное решение. Не получив ответа, отец умолк. В молчании прошла оставшаяся часть вечера.

На другой день, вместе со всеми, я приступил к работе по дому. Первое время заметно было, что

со стороны отца есть какое-то недоверие. Чувствовалась напряженность. Чтобы не раздражать его и дать страстям немного улежаться, первые дни я воздерживался от гуляния вдали от дома и от встречи с товарищами.

Очень хотелось повидаться с товарищами, а им хотелось увидаться со мной. Одно из свиданий было при таких обстоятельствах. Однажды вечером ко мне пришел двоюродный брат, с которым мы тут же отправились на кладбище; на смежное с огородом кладбище пришел и Сережа Утятников. Усевшись около отделявшего нас забора, мы беседовали довольно долго. Мои собеседники выразили удивление по поводу того, что я так сильно изменился—вырос до неузнаваемости.

Отец как-то узнал, что я опять встречаюсь с Утятниковым; по мнению родных, виновником ареста был безусловно он. На этот раз мой папаша бесповоротно решил меня проучить и для этой цели приготовил чресседельник. Как-раз в это же время к отцу пришел его приятель Канатов, с которым он состоял вместе в комитете по постройке колокольни, ведя борьбу на этой почве с попом и с церковным старостой. К этому общему делу оба они относились очень горячо. Они ушли для беседы в верхнюю комнату дома и просидели там долго. В это время все, в том числе и я, легли уже спать. И на этот раз я остался ненаказанным. Трудно сказать, что бы со мной было, если бы задуманный отцом способ выучки был выполнен.

С течением времени мое прошлое все больше забывалось. Скоро и наблюдавшееся вначале ко мне

недоверие исчезло и сменилось полным расположением. Ввиду нездоровья отец поручил многие свои дела мне, и я был дома не только не лишним человеком, а даже необходимым. Мое пребывание дома и невозможность поступить на завод не заставляли меня страдать.

За время моего пребывания в тюрьме особенно ярких перемен в жизни односельчан не произошло. Правда, Коншину, который показывал, что я разбрасывал листки, не особенно было весело. Его многие из молодежи стали ненавидеть, а Василий Тихов, по прозвищу Васька Ухан, в пьяном виде с ножом бежал за Коншиным, грозя его зарезать, за провал Котова. Со времени моего ареста вопрос о политике стал злобой дня в селе. Молодежь определенно была задета и хоть со страхом, а все-таки заинтересовалась политикой. С другой стороны, это поколебало в среде мещанско-крестьянской ту, по их мнению, хорошую репутацию, какая установилась о нашем доме до этого. Бывали случаи, что отцу в глаза говорили при спорах:

— Вот у тебя и дети-то политикой занимаются и не признают бога, и сына твоего за это сгноят в тюрьме.

Все вместе взятое наложило известную печать и на наш дом и на меня особенно. Я стал самым популярным человеком в селе. Надзор, под который я был отдан уряднику, состоял в том, что два раза в неделю я должен был приходиться к нему отмечаться. Забыть и не интересоваться с сего дня политикой я, конечно, не мог, как бы там ни отзывалось это на домашних,

на мне и на соприкасающихся со мной. Несмотря на надзор, у нас составилось нечто вроде кружка. Занятий кружковых долгое время не было, но литературу между собой распределяли. В своем соку варились, хотя это нам давало сравнительно мало, так как не было среди нас более подготовленных.

Литература в виде листков до сих пор получалась все из тех же источников, что и раньше—в зимнее время, главным образом, из квартиры все того же Утятникова. Распространение же ее теперь лежало не только на двоих, но и на других товарищах. Надо сказать правду, нередко товарищи боялись распространять литературу, но отказаться совсем тоже не решались, а потому и распространение не было тщательным. Когда прибывало много листков, то часть их просто сжигалась, так как каждый брал и распространял два-три десятка, не больше. Я из числа распространителей был исключен, так как был под надзором и слишком приметен по своей хромоте.

Нередко приходилось слышать от односельчан, особенно пожилых: «Ну, если кто попадетя с этими листками, будет раскаиваться, а при случае может и не уйти живым». Все же попавшихся к кому-либо в лапы не было.

Осенью того же 1903 г. отец простудился, к сентябрю слег в постель, а в ноябре была потеряна надежда на выздоровление. В конце ноября отец умер. Нас осталось шесть человек. Старшему брату было 20 лет, а младшему—7. Умирая, отец высказал последний раз всю ту обиду, которую я ему нанес, попав в тюрьму, но тем не менее, как полагается, про-

стил меня. Жизнь семьи после смерти родителей первое время протекала почти так же, как и при них. Все шло по заведенному раньше порядку. В начале 1904 г. брат задумал жениться. Женитьба его проходила при участии свах и пр. Свахам не раз пришлось наткаться на указания, что брат-то жениха замешан в нехороших делах—политике; как же это случилось, что у таких хороших родителей дети занимаются плохими делами, и так далее в этом духе. Хоть и с препятствиями, но брат все-таки женился.

С наступлением весны, как ни трудно было мне, хромоту, взяться за соху, а пришлось это сделать. Отлынивать от работы я не имел привычки, но вместе с тем я себя не обрекал на эту работу надолго. Пахать мог только с грехом пополам. Нога мешала. Поэтому я принимал меры к тому, чтобы найти для себя более подходящую работу. В конце мая такую работу нашел в обществе потребителей при Сормовских заводах. В то время правление этой потребилки было в руках рабочих—больше того, в руках с.-д. рабочих. Потребилка была убежищем для очень многих, выброшенных из завода за политику. В качестве конторщика я работал там первое время за 15 рублей в месяц, а потом за 18 рублей. Братья и сестры были недовольны моим уходом из домашней крестьянской работы.

Попад в революционный котел—чем явилась заводская потребилка, я, понятно, принял активное участие в революционной деятельности. Знакомство в потребилке у меня было очень широкое, причем

многих я знал по тюрьме. Жить я продолжал дома. Первое время более или менее аккуратно, хотя и поздно, приходил ночевать домой. С течением времени ночовки дома стали все реже, потому что я застревал на собраниях у товарищей, в театре и просто на гулянии, после чего идти за четыре—пять километров было мало охоты. Так я постепенно отрывался от дома и от товарищей-односельчан.

Летом для односельчан мне удалось устроить занятия в кружке. Несколько раз в качестве пропагандиста приходил Петр Урыков, потом кто-то из интеллигенции. К осени, ввиду темноты и грязи, я из дома совсем ушел, наняв квартирку в Мышьяковке. Уйти мне было не легко, так как домашние понимали, что я ухожу от них почти совсем; они видели, что я не только не забыл своих прежних увлечений, а еще больше ухожу в них с головой. На этой почве не раз у меня были ссоры с братом, а главное, со старшей замужней сестрой. Однажды она меня довела своими поучениями и наставлениями до того, что я ее выгнал из дома, в результате чего она на улице стала кричать: «Мало тебя, политику проклятую, держали в остроге. Еще бы надо. И достукаешься, раз не бросил этого дела».

За распространение прокламации я получил три года гласного надзора. Перебравшись жить в Мышьяковку, я перевел свой надзор к приставу Сормова. Квартиру снял у Павловых по приглашению Мити Павлова, с которым познакомился в тюрьме. Семья Павловых состояла из старика-отца, матери и семи ребят. Жили они очень бедно, но чистенько. Сам

Митя Павлов был по профессии модельщик; отец—столяр; второй сын Петр работал еще только учеником, а остальные были мал-мала меньше. В смысле взглядов на жизнь это была самая свободолюбивая семья. Митя (как звали Павлова) пользовался не только сочувствием своих родителей, но и всяческим их содействием. Отец Мити, Александр Тимофеевич, был, однако, религиозным. Однажды он увидел около икон портрет царя; это было во время обеда; он взял этот портрет и давай рожу Николая мазать тюрей, приговаривая: «Вот, гадина, отведай, что мне приходится из-за тебя есть». Матушка Мити, Васса Семеновна, была очень деловитой женщиной и, чтобы кормить общими усилиями семью, давала обеды.

Квартирант Андрюша Ефремов—рабочий, если не ошибаюсь, по профессии слесарь—был очень серьезный и хороший парень. Прожив некоторое время, я увидел, что квартира Павловых является штаб-квартирой для всех единомышленников Мити. Таких квартир в районе Сормова было только две: Павловых и Барановых, с которыми я был знаком с больницы и с тюрьмы. Всего характернее то, что в Сормове не было совсем интеллигенции; все выполнялось исключительно рабочими. Интеллигенция приходила из Нижнего только в качестве докладчиков от губернской организации или (не часто) как пропагандисты. Уже в то время—в 1901—1904 гг.—в Сормове имелись высокоразвитые рабочие; такие рабочие смело могли тягаться с любым интеллигентом, даже по теоретическим вопросам.

До конца 1904 г. вся работа происходила исключительно под влиянием эсдеков. Так было в самом Сормове; за город я не ручаюсь. Все перечисленные товарищи были эсдеками. Об эсэрах не было помину. Несмотря на частые аресты, подпольная работа, и большая, велась очень усиленно.

Летом местом всяких занятий с кружками, массовок и просто собраний были леса, поля и рощи. Особенно удобным был лес между Сормовым и Канавинным, влево от шоссеиной дороги, по пути из Сормова в Нижний. Зимой приходилось для той же цели пользоваться квартирами. Зимой 1904—1905 г. не раз устраивались большие собрания под видом вечеринок. Одна из них была устроена в Мышьяковке. На этой вечеринке была только избранная братия; много было людей из города. В самый разгар вечеринки явилась полиция, во главе с приставом. Несмотря на протесты с нашей стороны и на указание, что это—просто веселая вечеринка, доказательством чего была и выпивка, нас всех переписали. Переписывая, пристав замечал между прочим: «Да, недурная вечеринка. Со всех концов необъятной России люди собрались». После переписки предложено было разойтись. Все наши усилия продолжать наше «веселие» не увенчались успехом.

Спустя некоторое время такая же вечеринка была устроена еще раз. Чтобы опять не попасть на глаза полиции, мы собрались на выселках деревни Починки. И на этот раз полиция разнюхала и явилась в самый разгар веселья. Переписав, и в этот раз предложила разойтись.

Общество потребителей служило и явочной квартирой, и убежищем для изгнанных из завода, и культурным очагом, и пр.

Иногда приходилось бывать и на городских собраниях где-либо за городом. Из городских товарищей, посещавших наши рабочие собрания в лесах и полях, я знаю только следующих: Владимирского М. Ф., Лебедева Платона (он же Керженцев), Якова Михайловича Свердлова и Лопату (Строева).

Сидевшие со мной одновременно в тюрьме сормовцы и нижегородцы были все почти привлечены по одному делу. Они сидели долго в Нижнем, а потом их отправили в Москву. Осенью, в 1904 г., если не ошибаюсь, эти товарищи были освобождены. Митя Павлов и Сенька Баранов, пожив после тюрьмы немного дома, решили уехать в Ярославль. Как поднадзорным, в Ярославле с работой где-либо на заводе или на фабрике им устроиться не удалось. Они на это рассчитывали раньше. Митя, как модельщик по профессии, решил заняться близким своему мастерству делом: открыл при своей квартире столярную, а Сенька ему помогал. Сильно нуждаясь, они все же кое-как влачили существование. Подпольную работу они также не забывали. Скоро их арестовали но без вещественных доказательств и без улик. Ничего не пашли, потому что Митя хранил литературу в тайниках мебели, которые он сам устраивал. Когда дома от Мити получилось письмо с извещением об аресте и с просьбой приехать и забрать его вещи и инструмент, мы сразу догадались, в чем дело.

За вещами поехала матушка. Повидавшись с Митей в тюрьме, она вернулась обратно, захватив его вещи. Мы с Андрюшей сейчас же догадались, где что есть. Вскрыв маленький круглый столик, мы обрели целый склад нелегалыщины. Сидеть в тюрьме Мите с Сенькой долго не пришлось; их скоро освободили, и они приехали обратно в Сормово.

События 9 января 1905 г. ничем особенным не были отмечены в Сормове. «Весна» же Святополк-Мирского была ознаменована некоторыми событиями. В Нижнем либералами в дворянском собрании был устроен банкет. На этот банкет мы, сормовцы, постарались притти в изрядном числе. Задуманный нашей организацией план действий был очень недурно осуществлен. Банкет был превращен в революционный митинг. Речи кадетов были жалким писком без поддержки аудитории; речи же наших ораторов сопровождались громом аплодисментов. Темой со стороны кадетов была критика действий правительства и требование конституции. Речи наших ораторов были ярко революционны, с призывом к выступлениям для свержения самодержавия. На этом банкете выступал и представитель от эсэров.

Другой подобный же банкет был устроен спустя некоторое время в Народном доме. В этот раз мы, сормовцы, привалили в изрядном числе. Заранее был выработан план действий: завладеть этим многочленным собранием всецело, начиная с выбора своего председателя. Избранным оказался социал-демократ, если мне не изменяет память, тов. Владимирский. После этой первой удачи с первого же

слова речи ораторов и по содержанию и по настроению были зажигательно революционны. Полиция, очевидно, предвидела это, а потому организовалась, как только могла, и во главе с полицмейстером Игнатьевым присутствовала на этом же собрании. Увидав, что это за митинг и что за речи произносятся, Игнатьев заявил, что такого собрания продолжать он не позволит. Господами положения, как известно, были уже не устроители, а потому Игнатьеву пришлось иметь дело с председателем собрания и с самим собранием.

Получив распоряжение полиции закрыть собрание, председатель обратился к собранию. Собрание бурно стало выражать протест, и в результате началось избивание присутствующих полицией. Кроме полиции, присутствовавшей в самом театре и по коридорам, было введено много с улицы. Избивание было беспощадным. Охранители порядка действовали не только кулаками, ногами и другими частями тела, а и палками. Старались не просто выпроводить участников собрания из театра, а, наоборот, загоразивали выходы и избивали. В результате многие основательно пострадали: кому отрубили палец, кому—ухо и т. п. Из собрания получилась каша, политая кровью, оглашаемая дикими криками избиваемых. Игнатьев за этот подвиг тут же на сцене около председателя получил пощечину—и не рукой, а калошей.

По выходе из театра надо было идти по домам. Собираться большими группами нельзя было, хотя нам, сормовцам, это нужно было, чтобы идти в свои края. На улице было много полиции, конной и пе-

шей, и чуть кто группировался с другими или останавливался, так сейчас же налетали с нагайкой и криком: «Разойдись и не останавливайся!» Через весь город пришлось идти с подобными приключениями. Как только конные видели, что собирается три-четыре человека, так тут-же начиналась погоня. Перед театром и около него хотя и размахивали нагайкой, но все-таки не били, тогда как дальше от театра, в городе, не стеснялись бить. Ввиду этого, как только увидишь где-либо этих блюстителей порядка, так сейчас же ищешь убежища во дворе. Так пришлось пробираться до самого Канавина, и только там мы смогли собраться и большой компанией идти дальше.

После этого банкетов больше не было. Кадетствующие устроители, очевидно, не хотели больше этим заниматься, да и полиция тоже вряд ли хотела таких собраний. Так началась и кончилась у нас «весна» Святополк-Мирского.

Интересны были в жизни Сормова одни похороны. Вася Дружкин, с ранних лет работавший на заводе и в детстве испытавший много всяких лишений и невзгод по вине пьянствовавшего отца, к 17—18 годам стал одним из серьезных ребят. По развитию—несмотря на то, что совсем не учился в школе, а научился читать и писать самоучкой—был далеко впереди многих товарищей. Будучи очень впечатлительным и горячим социалистом, он ко всему относился и все переживал всем своим существом. Был, как говорят, горячим человеком вообще, а в деле революции и подавно. Сидение в тюрьме и пережитая голодовка с карцером, очевидно, сильно надо-

рвали его. Через год после тюрьмы проклятая чухотка окончательно подточила силы борца. Ни о санаториях ни о курортах в то время для нашего брата-рабочего говорить не приходилось, все это было не для нас. Как свечка, сгорела осенью молодая и горячая жизнь преданнейшего борца за дело рабочих. Тов. Дружкин умер 19—20 лет.

Родители Васи и его жены были религиозны. Поэтому похоронить товарища по-граждански мы не могли, пришлось понести тело в церковь. На проводы собралось очень много товарищей. На гроб было возложено много красных венков и лент. В церкви села Копосова поп отпел панихиду, после чего гроб был накрыт крышкой, и без попа мы понесли его на кладбище. Могила была вырыта в стороне от кладбища, под ивой. Поставив гроб на краю могилы, один из присутствующих взял слово. Речь воодушевила всех нас.

Оратор отметил заслуги тов. Дружкина и указал на наш долг продолжать дело, за которое боролся уснувший навеки товарищ. Все заняли похоронный марш; затем опять была произнесена речь и пение: «Замучен тяжелой неволей». При возвращении с кладбища пение революционных песен не прекращалось.

Это была первая революционная жертва в Сормове, и впервые похороны сопровождались демонстрацией. Полиция и обыватели не ожидали такой демонстрации, иначе этого не удалось бы устроить.

В конце 1904 г. в Сормове стало известно, что существует еще одна политическая партия, что есть еще другого сорта социалисты. Это—социалисты-

революционеры. Отличие этой партии от социалдемократической для простых смертных заключалось в том, что у нее аграрная программа «лучше». В то время в Нижний и Сормово прибыли видные эсэровские работники. Тактика их была — начать работу не в низах, а прямо с верхов и тем самым, завоевавши верхи, они овладеют и низами. Планы у них были, как говорится, «наполеоновские». Так и было. Эсэрам удалось повести свою работу в верхах нашей эсдековской организации. По крайней мере, так было у нас в Сормове, про Нижний я не знаю. Начались у нас дискуссионные собрания; споры были очень горячими. В дискуссии принимали участие не только самые выдающиеся из рабочих, и средней величины товарищи нередко выступали с критикой новоявленных избавителей. Гвоздем споров был вопрос об аграрной программе. Это был эсэровский конек всегда и постоянно. Несмотря на все старания эсэров — а старания эти были очень велики — переубедить рабочих, за некоторыми небольшими исключениями, не удалось.

С того времени эсэры, хотя и с большим трудом, а все-таки обосновались в Сормове. Им удалось привлечь к себе и некоторых рядовых наших членов и, таким образом, образовать нечто вроде организации, которая к весне 1905 г. довольно солидно разрослась

V. ВЕСНА И ЛЕТО 1905 Г.

К весне 1905 г. работа революционного крота настолько разрослась, что с первыми признаками весенних проталин все это стало проявляться, вырываться наружу. Массовки где-либо в лесу на лужайках, на только что освободившихся от снега местах стали обычным явлением. Однако это не удовлетворяло наэлектризованных сормовичей—все это происходило в лесу, втайне. Хотелось действовать на людях. Весенний разлив заливал все пространство от берега Волги до самых усадеб, а местами по оврагам разлив окаймлял чуть не все Сормово. Обычно в весенний разлив многие катаются на лодках. Катания эти всегда имели целью удовольствие и развлечения. На этот раз, в разлив 1905 г., обычное сменилось необычным. По вечерам—а особенно днем в праздники—катавшаяся на лодках молодежь группировалась и начинала петь революционные песни, а иногда выбрасывать красный флаг. Сухопутная полиция с такими демонстрациями поделаться ничего не могла, и ей на помощь явилась полиция речная. Вдруг на флотилию демонстрантов налетел баркас речной полиции и начинал поливать из кишки демонстрантов водой—таким образом удавалось разгонять бунтующий флот.

Наша организация, увидав, что масса сама начинает проявлять открыто свою революционность столь оригинальным способом, решила использовать этот способ демонстраций организованно: до сих пор все это происходило стихийно и без вмешательства организации как целого.

Была дана директива: в такое-то воскресенье все на лодки для демонстрации. Демонстрантов на лодках собралось внушительное число, а еще больше было любопытных и сочувствующих зрителей на берегу. Пение революционных песен слышно было, вероятно, очень далеко, так как по воде звуки несутся, не встречая препятствий. Красные знамена были видны тоже очень далеко. При появлении речной полиции демонстрирующий флот двинулся к берегам около железнодорожного моста. Приставши к берегу и покинув лодки, демонстранты соединились. Тут же появилась сухопутная конная и пешая полиция и пыталась демонстрантов разогнать.

Демонстранты начали бросать камнями и таким способом прогнали ее. Тут же около железнодорожного моста открыли митинг. Выступал с речью Я. М. Свердлов. После митинга вся масса двинулась с пением по улицам Сормова. Пройдя железнодорожную улицу, свернули на Соборную, не переставая петь. Так дошли до Большой улицы, не встретив никаких препятствий. По Большой улице пройти удалось очень немного. Из боковых улиц вдруг появилась конная полиция и галопом помчалась на демонстрантов. Понятно, многие бросились удирать, но достаточно большое ядро оставалось под знаменами и не наме-

рено было разбежаться. Как только конные оказались близко к демонстрантам, со стороны последних посыпались камни. В ответ полиция начала стрельбу. Пришлось моментально рассыпаться и припасть к земле. В ответ на выстрелы также раздались выстрелы, и в результате полиция ускакала.

Постепенно все разошлись по своим местам, но в результате этой стычки у нас оказались раненые; двое (Командин и Дмитриев) были ранены тяжело: Командину пуля попала в ключицу и там застряла, а Дмитриеву прострелило обе ладони. В момент, когда его ранило, он с колёна сам метился из большого револьвера — поэтому и вышло, что ему прострелило обе ладони. Оба эти товарища раны свои залечили и продолжали попрежнему работать.

Выступление это было, несомненно, очень удачно. Решено было завоеванное право использовать и устраивать митинги и впредь. На другой же день за заводской больницей состоялся митинг, причем полиция даже и не пыталась его разгонять.

Первые дни митинги эти были не особенно многочисленны, а потом в них каждый раз участвовало от трех до пяти тысяч человек. Часть посетителей этих собраний, правда меньшая, состояла из одних и тех же людей, большинство же слушателей менялось, приходили на эти митинги и крестьяне.

Как по гудку на завод собираются люди, так и на эти митинги без всякого гудка в одно и то же время каждый день люди приходили, усаживались на землю, образуя собой большой круг. Середину круга занимал оратор и открывал митинг. Уставшего оратора

Сменял другой, а иногда и третий, пока не становилось темно.

На этих митингах говорилось обо всем. Это были не просто митинги для громких речей, а, вернее, это был кружок, и речи были скорее пропагандистскими по определенной, приблизительно, программе. И надо правду сказать, этими митингами было много развито и подготовлено людей. Большинство ораторов на этих митингах были все-таки не рабочие и тем более не сормовцы. Причин к этому было много. Среди них помнится бывали тт.: Лопата, Я. М. Свердлов, Владимирский, Семашко, Платон, Юрий, Алексей Иванович (Америкашка), Геннадий, из эсэров—Калашников и Колосов. В неделю устраивалось восемь митингов, так как в воскресенье бывало по два: и утром и вечером.

VI. В ПОЛУГОДОВЩИНУ 9 ЯНВАРЯ

Митинги стали как-будто обыденным явлением. Партийная организация на ряду с этой большой и весьма важной работой вела и другую работу. В 1905 г весной состоялся III съезд нашей партии; параллельно этому съезду собралась так называемая конференция меньшевиков.

До сего времени в Сормове была просто РС-ДРП, а меньшевиков и большевиков по отдельности не существовало. Обычно о съездах и о конференциях делались доклады. Такие же доклады были сделаны для сормовской организации о съезде большевиков и о конференции меньшевиков. Завоевать такую солидную организацию, какой была сормовская, хотелось обоим течениям. На докладе присутствовали члены организации, несшие ответственную работу. Докладчиками были со съезда Лопата, а с конференции Алексей Иванович или, как его еще звали, Америкаша. Тот и другой умели дискуссировать.

Это собрание тянулось много часов. Присутствующие должны были решить вопрос, с кем они—не потому, кто красноречивее и удачнее говорил, а вдумываясь в существо разногласий и определяя, кто правильнее смотрит на спорные вопросы. Вопрос на деле

решился так: сормовская организация раскололась на большевиков и меньшевиков. В том и другом течении были хорошие ребята и работники; численно же большевики имели перевес и в верхах и в низах. От раскола работа не заглохла, а первое время как-будто даже оживилась: каждая фракция старалась победить другую. Работавшие в Сормове эсэры старались использовать наши разногласия.

С эсэрами как с инородным элементом у нас велась все время ожесточенная борьба. Кроме обычных дискуссий, имевших место всюду, в том числе и на упомянутых многолюдных митингах, нам приходилось давать эсэрам и генеральные дискуссионные бои в присутствии только членов той и другой организации. Одна из таких дискуссий, помню, была в Дарьинском лесу. Присутствовало на этой дискуссии, приблизительно, 300—400 человек. Боевым вопросом был аграрный. Ораторами выступали от РС-ДРП Лопата, Алексей Иванович и др., а от эсэров—Женя Колосов и Калашников. Часов с 3—4 дня и до позднего вечера тянулся спор. Как ни велики мастера эсэры в дискуссиях, однако переубедить нас им не удавалось.

Кое-что было сделано в окрестных деревнях. В частности, у меня на родине, в селе Копосове, однажды в праздничный день несколькими товарищами, пришедшими туда со мной, на хороводе устроено было чтение злободневных новостей, и хоровод таким образом был превращен в импровизированный митинг. Дело это происходило в какой-то царский день, были вывешены флаги. Флаги эти были перевязаны крас-

ной полосой вверху. Велась кой-какая работа и в селе Козине.

За это время, начиная с зимы, шла горячая подготовка в смысле самовооружения. Каждый член партии стремился вооружиться хотя бы револьвером системы «Смит и Вессон». Организация все меры употребляла, чтобы снабдить своих членов оружием. Помню, с каким рвением люди желали вооружиться, уплачивая за револьвер системы «Смит и Вессон» последние гроши в 13—15 рублей. За два-три месяца вооруженных револьверами стала не одна сотня членов.

По ходу событий было ясно видно, что в недалеком будущем предстоят крупные события, которые потребуют от партии готовности выступить не с пустыми руками и не вразброд, а как организованной и обученной боевому делу силе. Ввиду этого наша большевистская организация особенно обращала внимание на боевую подготовку своих членов. С этой целью был выделен специальный товарищ (Паша Мочалов) как организатор и инструктор боевой дружины. Выбор его на этот пост не был ошибкой. Он вполне соответствовал своему назначению. Это был еще совсем молодой красивый парень, внушительного вида, человек без страха и сомнения, с самообладанием, с большой энергией, а главное — преданный делу революции. К июлю 1905 г. в боевой дружине обучающихся было человек 60—70. Занятия боевиков происходили в различных местах кругом всего Сормова по 10—15 человек, а иногда собирались и все вместе.

При боевой дружине была сформирована красно-крестная часть, куда входили женщины.

Подготовка к грядущим событиям выражалась еще и в том, что на заводе всюду делалось холодное оружие, и также и оболочки бомб различной величины и формы.

В частности, нами квартира Павлова нередко превращалась в лабораторию по начинке и подготовке взрывчатой массы для бомб. Занимался этим я с Андрюшей Ефремовым. Иногда занимались стиркой паспортов, применяя самые примитивные способы. Доходило даже до того, что бомбы мы прятали у себя же на чердаке. Андрюша Ефремов был парень скорей дела, чем слова. В качестве оратора он почти никогда не выступал; но что касается того, чтобы что-нибудь сделать, то тут он был мастер. Опасность его не останавливала. Помню такой случай: по соседству с Павловым жил какой-то подозрительный тип. Были основания предполагать, что он служит в тайной полиции и за домом Павловых следит. Андрюша никак не мог относиться к этому спокойно — его всегда раздражало такое соседство.

Чтобы дать почувствовать соседу, что о его негодяйстве знают, Андрюша (по своей инициативе, конечно) раза два бросал этому типу в окно камни и тем успокаивал свою злобу.

Так шла работа, словно в кипящем котле, бурля и брызгая на все стороны. Два слишком месяца велась широкая подготовительная боевая работа партии и ее боевых дружин. Ни одно предприятие организации не проходило без пользы для дела партии. Боевая

подготовка, хоть и с маленькой практикой в смысле открытого боя, но с достаточной практикой в смысле охраны была довольно серьезной, так как за эти два-три месяца все собрания охранялись дружиной с достаточной бдительностью.

Такое положение дел далеко не радовало власть имущих. Чем дальше, тем больше владычество рабочих Сормова углублялось и расширялось. Все происходившее могло вылиться в захват всего в рабочие руки. Полиция и жандармерия очень боялись этого, да и перед высшими властями необходимо было отвечать за допущенную свободу. По Сормову начали было уже равняться Нижний-Новгород и Канавино. Власти готовились к тому, чтобы этому положить конец. В Сормово к июню месяцу было согнано много полиции из других мест. Были присланы казаки и солдаты.

В июле как раз должны были справлять полугодщину 9 января. К этому готовились и Сормово и Нижний. Мы, сормовичи, не хотели ограничиться обычными митингами, а решено было устроить демонстративное шествие по улицам. Местом сбора и начальным пунктом демонстрации было место митингов.

Решение о демонстрации было общим (большеви-ков, меньшевиков и эсэров). Заранее чувствовалось, что будут препятствия нашей демонстрации. Митинг начался на обычном месте. Необычным оказалось то, что были выкинута красные знамена с надписями «Долой самодержавие» и др. Ожидая столкновения с полицией и казаками, каждый вооружился, чем мог.

Боевая дружина была на своем месте. Полиция и казаки знали о готовящейся демонстрации, а потому все были на-чеку. Как только митинг закончился и все тронулись с места, тронулись из казарм и казаки и, встав неподалеку от казарм перед лесочком, перегородили демонстрации дорогу.

На этот раз в демонстрации участвовали не все участвовавшие на митинге, так так были предупреждены об опасности. Речи перед демонстрацией были на тему о событиях 9 января и о предстоящей демонстрации, которая должна была явиться протестом против правительства, устроившего кровавую баню рабочим в день 9 января. Все, значит, были в курсе событий, а потому и шли смелой поступью. Перед заграждением казаков демонстрация остановилась.

Снова выступили ораторы, речи которых были прекрасно слышны и казакам. После каждого оратора пелись революционные песни. Так друг перед другом стояли долго, будучи готовы—как те, так и другие—к кровавому бою. Напряжение было доведено до крайности. Понятно было, что дальнейшее шествие неизбежно вызовет сражение. Взвесив все за и против дальнейшего шествия, было решено ограничиться этим митингом. Такое решение и было самым целесообразным на этот раз. Постепенно демонстранты разошлись, и столкновения не произошло. Достаточно было бы одного провокационного выстрела, как обе стороны, наверно, открыли бы огонь. Состояние напряженности осталось. Случился какой-то перелом, но все-таки и на другой день нас не трогали. Все было наэлектризовано.

В Нижнем полугодовщина 9 января прошла несколько иначе. Где-то за Народным домом был устроен митинг; этот митинг был разогнан хулиганами, некоторые из участников митинга были побиты. На другой день (10 июля) в Нижнем опять была попытка устроить митинг. На обратном пути участников встретила хулиганская черносотенная публика и избивала. В городе тоже устроено было нечто вроде погрома; громил поддерживала полиция.

Много побитых было посажено в участки и отправлено в больницы, и даже один был убит (аптекарь Гейнце). Известия о событиях в Нижнем к нам поступали каждый день через нарочных. Узнав о начавшихся погромах, решено было помочь товарищам нижегородцам и дать отпор громилам. Значительная часть боевой дружины и просто члены партии должны были двинуться вооруженными в Нижний вечером 10-го и утром 11-го.

Утром 11 июля я вышел было на службу. Часов в 10 утра со службы я ушел, так как тревога за Нижний все увеличивалась. Направился с кем-то из товарищей на пароход. Место явки для сормовичей в городе я знал. Придя в какой-то садик, названия которого не помню, я нашел там своих. Получив указание, куда направляться, я двинулся с кем-то вдвоем. В городе в этот день было человек 50 — 60 сормовцев. Мы все были распределены по улицам, дожидаясь начала погрома. Наказ был не вызывать дебоша самим, а только ждать действий с противоположной стороны. Так ходили мы до 8 часов вечера. В некоторых местах пьяная босячня пыталась сло-

весно задевать нас, но мы старались словесно же отвечать и не доводить дело до схваток. С приближением ночи перед сормовичами стал вопрос, как быть: дальше ли оставаться в городе или уезжать обратно в Сормово. Выяснилось, что ночевок для нас не находится. Поэтому решено было двигаться домой.

Пароходное сообщение было возможно только до 10 часов вечера, а потому и нужно было за оставшиеся два часа постепенно всем двигаться к пристани. Пара за парой, на некотором расстоянии одна от другой, наша братия двинулась. Процессия растянулась на значительном расстоянии. Когда первые пришли на Нижний базар к набережной, то задние еще только трогались с центральных улиц города. Впереди меня шла с кем-то под ручку и с корзиной малины Нюша Скачкова. В корзине под малиной была бомба. Шли мы по внешней стороне крепостной стены, чтобы потом по лестнице спуститься прямо вниз. Со мной шел кто-то из новичков, административно высланный из Николаева.

Ни с того ни с сего на нас сверху, со стены крепости, бросили булыжник. Мы видим, что дело плохо. Пришлось без лестницы спускаться вниз. Это было как раз против Балчуга. Как-будто по сигналу всюду раздались крики:

— Вон они. Бей их!

Слышны были выстрелы. На меня бежало несколько человек. Двинуться на соединение с другими одному возможности не было, тем более, мне, хрому. Выхватываю револьвер и открываю огонь. Стрелял я в большинстве случаев на расстоянии 15—20 шагов,

чтобы меньше было промахов. Выстрелил один заряд, успел зарядить второй и открыл пальбу снова.

Большого я сделать уже не мог. Последние выстрелы и так были произведены в упор: одной рукой я отталкивал нападавшего, а другой в него стрелял. Я был сбит с ног и тут же на месте меня начали избивать чем только попало, включительно до рубки пашкой и припрыгивания на моем животе. Около меня собралось десятка полтора этих погромщиков. Злоба их была беспредельна, так как неподалеку валялись в крови подстрелянные мной их товарищи.

Как ни сильно меня били и рубили, все же сознания я не потерял. Как сейчас, помню свои слова в ответ на удары: «Бейте сколько хотите, я свое дело выполнил». Спасение мое от смерти последовало, как раз от главного устроителя этого погрома — а именно от губернатора. Он выехал на поле действия погромщиков. Проезжая мимо меня, губернатор остановился и почему-то распорядился прекратить дальнейшее избивание. Его словами были:

— Ну, молодчики, будет. Больше не бейте.

Остановившись, стали рассуждать, что со мной делать. Появился и полицейский. Одни говорят, что надо его отвести в полицейский участок, а другие — вести в больницу, ведь он все равно не выживет. Слушая эти рассуждения, я боялся, что верх возьмет первое предложение, тогда мне, наверняка, будет конец, в участке добьют.

Должно быть, вид у меня был очень потрепанный, и кровь, текшая из ран, говорила за то, что я не жилец на белом свете, а потому и восторжествовало

предложение отвезти меня в больницу. Взвалили на извозчика, и в качестве провожатого сел полицейский. Я старался как можно меньше проявлять признаков жизни. В больнице мне сделали холодную ванну, а затем перевязку. На голове имелось до девяти ран. В четыре сантиметра была рана от шашки на правой лопатке, колотая глубокая рана на той же руке повыше локтя и еще повыше кисти, а, кроме того, много мелких ран и синяков.

На другой день, 12 июля, через родственников других больных я дал знать в Сормово о месте своего пребывания. Был вызван на перевязку. Когда одновременно несколько рук стали отдирать с головы присохшую повязку, мне сделалось дурно. Врач, осмотрев раны, сказал:

— Вам необходимо лежать, ходить можно только по делам, а иначе могут быть осложнения.

Вечером того же дня я был вызван в цейхгауз, где хранились вещи больных.

Околоточный надзиратель при мне обыскал все карманы и нашел несколько револьверных патронов. На вопрос: мои ли это патроны, я ответил, что мои.

На третий день ко мне пришли из Сормова Митя Павлов и его мать Васса Семеновна. От них я узнал о происшедшем в это время в Сормове и о смерти Андрюши Ефремова. Из всех происшедших событий и фактов само собой вытекало, что что-то надо делать. Оставаться в больнице было рискованно. Решено было так. Официально я из больницы выписываюсь с тем, чтобы долечиться в Сормовской больнице, так как там мне удобнее в смысле свиданий с родными.

На следующий день о своем решении я сообщил врачу, прося меня не задерживать. Однако не успели еще оформить выписки, как мне сообщили о том, что я арестован.

Тут же решил бить отбой и заявил, что чувствую себя очень скверно, а потому прошу подержать меня еще в больнице. На этом основании врачи больницы подняли вопрос о том, что арестовать больного нельзя. Вся эта история кончилась тем, что меня в тюрьму не взяли, а оставили в больнице, но только не вместе с больными, а в особой палате, и приставили ко мне пять человек солдат.

Итак, я оказался в больнице под стражей. Чувствовал я себя в этой обстановке не плохо. Хотя я, по состоянию своего здоровья, не мог ходить, однако, с солдатами я все время беседовал, благо, что они материалом были очень хорошим. Они воочию видели, что я, избитый черной сотней, еще и арестован.

Приходил следователь с товарищем прокурора и снимали с меня допрос. От показаний я не отказывался, но они далеки были от истины. Я говорил:

— В город пришел за покупками; револьвер взял, потому что был слух, что в городе нападают на прохожих не то пьяные, не то воры. Купить я ничего не мог, так как хорошие магазины были почему-то закрыты, и я, походив по городу, направился домой. Идя около крепостной стены, я увидел, что кто-то в меня сверху бросает булыжником. Чтобы не быть убитым, я принужден был спуститься вниз. Спустившись, беды я не избежал, отовсюду бежали

Какие-то подозрительные люди и кричали: «Вон они, в шляпах-то, бей их». Я вижу выхода нет, надо обороняться, вынул револьвер и стал стрелять.

Дальнейшее показание не отличалось от того, что было в действительности. Положение мое внушало опасение, что меня по выздоровлении привлекут к военному суду. Из переговоров с Митей узнал, что предпринимают меры к тому, чтобы меня выкрасть из больницы. На третий день пребывания под стражей меня посадили на извозчика и отвезли во второй корпус Нижегородской тюрьмы.

В тот момент, когда я сражался с черной сотней и когда меня били, по всему Нижнему базару и по набережной шло сражение и избиение. Без сомнения, выступление погромщиков на этот раз было организовано. Определенно нас поджидали. Из рассказов товарищей П. Мелентичева, Савина и других я знаю об этом следующее.

Как только они очутились на Нижнем базаре, на них сейчас же стали нападать выбегавшие с разных сторон люди. Благодаря тому, что наши сормовичи уже стали группироваться и до парохода было недалеко, то и встреча бандитов была иная, чем в одиночку. Вначале были беспорядочная стрельба и отдельные схватки. Потом скоро те и другие образовали нечто вроде фронта. Стреляли главным образом наши, а черносотенцы были больше вооружены дубинами и ножами. Как ни дружно действовали сормовичи, но под напором очень большой черносотенной толпы пришлось отступать. Отступали по направлению к пристаням пароходов, продолжая отстреливаться.

Другого выхода, как захватить какой-либо пароход, не было. Так и было сделано. Не прекращая стрельбы, все забрались на один небольшой пароход и под угрозой револьвера заставили машиниста дать ход машине, благодаря чему отплыли от берега; потом направили пароход на левый берег Волги и там, в лугах, слезли. Это и было спасением. Потерь в этой схватке у нас не было.

Разъяренная толпа погромщиков не знала пределов своей злобе. Можно сказать, из-под носа у них удрали те, кого они хотели громить. Потери у них на этот раз были, как потом говорили, очень большие — убитыми и ранеными.

Одновременно между тем местом, где был избит я, и описанным большим сражением происходили еще схватки. В одной из этих схваток участвовал Командин и неподалеку от него Дмитриев. Оба эти товарища были сбиты с ног и очутились во власти разъяренных крючников и балчужных лавочников. «Защиты» губернаторской тт. Командин и Дмитриев не удостоились, а потому были растерзаны. Трупы их можно было узнать только по одежде. Особенно обезображено было лицо у тов. Дмитриева. У тов. Командина была высечена до мозга ушная раковина. Такова участь этих двух прекрасных и дорогих товарищей.

Были и еще пострадавшие. Помню некоего Александра, который был профессионалом в Сормове. Фамилия его, как я потом узнал в Париже, Потушанский. Он и Геннадий спаслись тем, что спрятались у какого-то лавочника.

Похороны гг. Командина и Дмитриева происходили в Сормове. В процессии участвовало очень много рабочих. Красные знамена, пение и речи всю дорогу сопутствовали жертвам за революцию, павшим от руки темноты и невежества.

VII. ВТОРОЙ РАЗ В ТЮРЬМЕ

Кругом забинтованного, с незажившими ранами, меня привезли во 2-й корпус Нижегородской тюрьмы. Привезли и посадили одного в камеру, величиной человек на сорок. Пришлось сидеть, благо во второй раз сиделось уже, как-будто по привычке.

Из политических в это время во 2-м корпусе был, кажется, только я. Спустя дня три ко мне в камеру посадили какого-то старика с длинными волосами. Голова у него была забинтована и, судя по всему, он был дьяконом или каким-либо сектантом. Вначале я отнесся к нему с большим недоверием и решил предварительно позондировать почву. Через несколько минут ему принесли письменные принадлежности, и мне удалось одним глазом увидеть заголовок: «Его превосходительству г-ну прокурору Нижегородского окружного суда и т. д.» Дальше читать было неудобно, я отошел в сторону подальше и ждал, когда он напишет. Написал он довольно скоро.

На мой вопрос, отчего он с повязкой на голове, он мне рассказал следующую историю.

— Да, вот, — говорит, — шел я по Нижнему базару со знакомым; ни с того, ни с сего начинает приставать пьяное хулиганье; на просьбу оставить нас в

покое они от ругани переходят к действиям руками, пытаясь что-нибудь в нас бросить. Немного пороптав по этому поводу, пришлось завернуть к знакомым, так как сделать что-либо другое по меньшей мере было бесполезно. Это была банда, которую вот уже неделю спаивают власти вместе с губернатором и заставляют их заниматься погромными делами. Посидев некоторое время, мне нужно было пойти дальше. Пошел я, снова пристают ко мне, бросили камнем и пробили голову. Обливаясь кровью, я упал. Бдительная полиция сейчас подобрала меня в участок; до этого, пока я шел и отбивался от этих хулиганов, ее не было видно. Из участка повели куда-то сделать перевязку и потом направили сюда. Как вам это нравится? Вот законы для защиты граждан.

Выслушав, я все-таки продолжал относиться к нему недоверчиво, так как меня очень смущал его поповский вид. Спрашиваю:

— Кто же вы сами-то?

— Да я сам-то здешний, нижегородец, садовник Вениамин Егорович Лазарев. На меня, конечно, они давно зубы точат, надоел я им.

Вижу дело проясняется. Начинаю рассказывать о том, что и я жертва погромщиков, был ими избит, попал в больницу, а из больницы в тюрьму.

— А, так мы с вами товарищи по несчастью? Где же это вас били-то?

Объясняю.

— Да про это я знаю, ведь и накануне этого тоже было избиение и даже был убит аптекарь Гейнце.

Говорю, что об убийстве аптекаря я слышал.

— А вы откуда? — следует вопрос.

— Я сормовец.

— В тот день, когда вас били, сормовичи здорово поколотили черносотенцев-то. Было больше десятка только убитыми, а сколько было раненых! Все это они тщательно скрывают. Долго они это будут помнить. Вот теперь они и не знают, на ком злобу сорвать. Главный организатор черной сотни Ключев тоже был ранен и увезен в деревню, чтобы скрыться; скрыть, что все это было устроено властями, нельзя. На-днях я слышал разговор взрослых о том, что кто-то собирал крючников, извозчиков и босяков, чтобы они били жидов и социалистов. В это же время вмешивается мальчуган и говорит: «Я сам видел, как у участка поили их вином и говорили, что это вам от губернатора». На эти слова мальчика, я тут же и сказал: «Устами младенца глаголет истина».

После всех этих разговоров я уверился в том, что этот человек посажен ко мне не с целью провокации. В дальнейшем мы нашли и общих знакомых, скоро познакомились очень близко. К нам обоим ходили на свидание знакомые и родственники. Не знаю, насколько это верно, но Лазарев рассказал мне, что к нему на свидание пришел крестьянин и на языке, заранее условленном, предлагал Лазареву освободить его посредством нападения на тюрьму.

— Говорил о дровах, а я понимал, что речь шла об освобождении меня. Конечно, это предложение я отклонил как бесцельное, так как все равно скоро освободят.

Лазарев был народником, с крестьянами был связан и жил очень дружно, бывая у них часто в деревнях.

Прошло некоторое время, из большой камеры нас перевели в меньшую. Посадили к нам еще одного компаньона. Едваб оказался очень интересным человеком. Привели его с гауптвахты. Он был артиллеристом на действительной службе. Сидел уже давно и впереди никаких надежд скоро выбраться у него не было. Однажды он сделал попытку удрать из-под стражи, но неудачно, благодаря тому, что негде было спрятаться и переждать время, а потому пришлось пойти прямо на поезд. В поезде же его и арестовали. Он тогда решил как-нибудь выбраться из-под ареста и с военной службы, так как иначе неминуемо попал бы в дисциплинарный батальон и был бы там доведен до «ручки». Он прибег к симуляции психического заболевания и таким путем добился перевода с гауптвахты сюда в тюрьму. Были у нас намерения устроить этому товарищу побег. Зондировали для этого почву, но подходящего ничего не нашли и не придумали. В то же время была попытка со стороны уголовных убежать из тюрьмы. Очень удачно они выпилили решетку, выбрались из камеры, перебежали двор, через забор попали во двор частных жителей и там засыпались. Все это сделано было за-светло, мы наблюдали через окно за этим побегом. Не удался он, главным образом, потому, что рано по времени затеяли его, боясь, что на поверке обнаружат выпиленную решотку. После этого побега, хотя и неудачного, бдительность охраны была усилена.

Однажды решили, что Едваб разыграет ночью какую-нибудь - историю, чтобы дать доказательства своей ненормальности. Без всяких причин он встал

ночью, собрал различные вещи: пузырьки, кружки, стаканы, чайники и из всего этого построил ряд солдат. Построив, начал командовать. Дежурный надзиратель заметил это, дал знать старшему надзирателю, и началось постоянное наблюдение. Едваб, заметив надзирателя, стал бросать в дверь, чем попало. Видя, что он не успокаивается, решили войти в камеру и надеть на бунтующего смирительную рубашку. Мы заранее условились до этого дела не доводить, так как надзиратели всегда расправляются с такими безжалостно и нередко избивают. Мы решили так: только дверь начнут открывать, так сейчас же мы первые же бросимся на больного и попытаемся держать его, не допуская к нему надзирателей. Все это должно было быть разыграно так, чтобы не заметили в этом наш умысел, так что Едваб должен был и в наших руках рваться, метаться и пр. Наше решение и было проведено в жизнь. В результате буян был в смирительной рубашке, лежал на койке, привязанный веревкой. Игра эта была очень удачной. Сомнений не было никаких в том, что это была не симуляция. Другой случай подобной игры вышел экспромтом в коридоре благодаря крысе. Испугавшись якобы крысы, Едваб начал бегать, как бешеный, по коридору, а мы его ловить. Игра на этот раз была еще удачнее. Приходили в тюрьму психиатры. Какой отзыв они давали, было неизвестно. Пока мы сидели втроем, Едваб чувствовал себя сносно и не думал уходить из тюрьмы. Но вот Лазарева выпустили. Мои раны зажили, и следовательно требовал моего перевода в первый корпус. Так мы

все трое и разошлись в разные стороны: Лазарев на свободу, я—в первый корпус тюрьмы, а Едваб добился обратного перевода на гауптвахту.

Судебный следователь по важнейшим делам, ведший следствие по моему делу, не раз вызывал меня на допросы, на которых я нового ничего не прибавлял, отказываясь подписывать протоколы допросов. Показывали мне каких-то людей, спрашивая и меня и их, узнаем ли мы друг друга. Я, конечно, отвечал, что никого не знаю и нигде не видал. Ответ с другой стороны был иной: двое говорили, что помнят, что это тот самый, который в них стрелял. Третий из них, запасной солдатишка, вышедший только что из больницы, бледный, говорил: «Я ничего не помню и никого признать не могу». Этого солдата я помнил и узнал, что в него именно я и стрелял в упор. Обвинение, предъявленное мне, было: одно убийство и три покушения на убийство. Двое из тех, на жизнь которых я покушался, были мною ранены, солдат в том числе сильно, а третий просто только говорил, что я в него стрелял, но не ранил.

На этот раз в первом корпусе меня посадили в башню. Сидел я один, переодетый в арестантское платье. Немного скучновато было, но только первое время. Скоро завел переписку с товарищами, и жизнь потекла нормально. Не помню фамилии товарища, с которым я вел переписку по вопросу: может ли рабочий класс завоевать власть парламентским путем, без насильственного захвата власти, и может ли осуществиться социализм без экспроприации экспроприаторов, т. е. путем завоевания парламентского

большинства. Я не могу сказать, какова была на самом деле точка зрения на эти вопросы у моего корреспондента. Нало полагать, что он нарочно взял этот вопрос для спора, встав на точку зрения защиты возможности мирного разрешения этих вопросов. Я из кожи лез вон, доказывая, что этого никогда не случится. Особенно серьезных доводов в то время я не мог привести в защиту своего взгляда. Из приведенных мною доводов, сейчас я помню, например, такие: мирным путем рабочий класс не может получить в парламенте большинства голосов, так как буржуазия достаточно сильна, чтобы не допустить такой оплошности. Если же это и случится, паче чаяния, то и тогда буржуазия не отдаст фабрики и заводы добровольно, а будет драться. Может случиться, что драка будет неравная, буржуазия может остаться без штыков на своей стороне, но, несмотря на это, драка все-таки будет, так как буржуазия без боя не даст отнять у себя источник своего существования.

О том, что делалось на воле, я ничего не знал, так как свидания с людьми, жившими общественной жизнью, я не имел. Из переписки с товарищем почему-то мне тоже ничего не было известно о новостях. Как-то однажды, в день свидания, взобравшись на окно, которое в башне было очень высоко и мало, я увидел товарищей, шедших со свидания; на вопрос, что нового, мне ответили: «Бастуют 63 железных дороги». Это все, что я узнал. Не имея никаких других данных и возможности обмениваться мыслями с другими, я спрыгнул с окна и сел за обычное свое дело, за чтение. Это было около часа дня. Потом

принесли мне обед, затем кипяток. После перечисленных обрядов обычно двери закрывались до ужина, т. е. часа на четыре. Часа в четыре мне опять захотелось посмотреть на волю. Я забрался на окно. Ничего на этот раз я особенного не увидел. Спрыгнув с окна, лег на нары, чтобы немного задремать.

Башня 1-го корпуса Нижегородской тюрьмы — это круглое, как кадушка, помещение, метров $4\frac{1}{2}$ в диаметре и такой же высоты, окно в нем настолько маленькое, что при плохом дневном свете нельзя читать даже и с хорошим зрением. Нары для спанья и кадушка (жбан) для воды являлись меблировкой башни (жбан сходил за стул а нары — за стол) дверей было две, одна от другой отделялась длинным и узким коридором, в который на день из камер выносили постели. Для вызова надзирателя по какой-либо надобности имелся звонок с протянутой веревкой в башню. Стены, нары и дверь испещрены всевозможными надписями и вырезанными фамилиями сидевших в башне, даже иконы на обратной стороне были использованы для какого-либо стихотворения; если же икона была в ризе, то за этой последней устраивался обычно тайник для записок.

Продремав всего с полчаса, услышал, что открывается одна дверь, затем загремел замок другой. Это было не совсем обычно для данного часа, и потому я вскочил с нар, вслед за чем в камеру зашел надзиратель и говорит:

— Собирайте вещи и выходите.

— Собирать вещи? — с удивлением спрашиваю я.

— Да, и скорее пожалуйста.

Возражать не приходилось, складываю вещи. Еще раз старший повторяет:

— Скорее, скорее.

На это я отвечаю опять вопросом:

— Какие же вещи мне собирать, свои только или и казенные?

— Да ну, собирайте только свои.

Быстро собрал я свои бибелы, которых было очень немного, и мы со старшим надзирателем двинулись. Зная заранее тюремные правила (запрещение говорить, куда и зачем ведут или вызывают), я поэтому и не спросил, куда меня переводят. Выйдя из корпуса, повернули во двор бараков.

Обычно на барачном дворе гуляют политические заключенные, а на этот раз я никого не увидел. У цейхгауза мне подали мои вещи и предложили переодеться. Быстро переоделся я и очутился в вальных туфлях, в шляпе и в летнем пиджаке. Выводят за ворота барачного двора, и я вижу город. Около тюрьмы было довольно много солдат, и толпа народу. В голове мелькает тревожная мысль, «куда-то меня собираются увозить». Привели в контору тюрьмы. Вижу, все какие-то встревоженные. Опять-таки подсовывают мне бумагу и книгу, чтобы я расписался в получении своих вещей и денег. Расписываюсь. «Вы свободны», — заявляют мне. Какое-то недоверчивое, растерянное состояние у меня было в тот момент. Все же слуху своему я верил и направился к выходу из конторы. Никто не останавливал меня. Вышел на улицу к толпе народа, слышу крики: «Освободили, вот он здесь». Со всех сторон вопросы:

остался ли еще кто в тюрьме из политических. Говорю, что не знаю. С флангов толпы кричат: «Покажите освобожденного». Поднимают меня на руки вверх, и я обзираю всю толпу численностью тысячи в две-три людей. Увидав меня, толпа умолкла. Я был в эти секунды вроде ненормального. Не мог вымолвить ни одной фразы; наконец, опомнился и взволнованным голосом спрашиваю:

— Что же случилось-то? Почему такое собрание?

Коротенько мне объяснили, что вышел манифест, объявлены свободы и т. д.

— Кто же это все объявил?—спрашиваю я.

— Сомодержавие,—был ответ.

«Э, так самодержавие-то остается! Какие же это будут свободы?» моментально все это новое переломилось у меня в голове и формулировалось такими словами.

Тут же я встретил своего товарища — сормовца Каюрова. Итти с толпой демонстрировать я не мог, так как в валеных туфлях и в летнем пиджаке гулять было не по сезону. Тов. Каюров взял извозчика, и мы вдвоем поехали.

Дорогой товарищ рассказал подробно, как все это случилось. Рассказал между прочим, как добились моего освобождения. Дело в том, что я сидел как уголовный, так как обвиняли меня в убийстве и в покушении на убийство, а потому и освободить меня не собирались. Вот поэтому политических и освободили раньше меня. Чтобы добиться моего освобождения, пришлось итти с демонстрацией к губернатору и к прокурору. Только такой способ помог

моему освобождению. Не по манифесту, значит, я был освобожден, а по требованию масс.

По дороге мы встретили многочисленную демонстрацию сормовцев. Увидав знакомых и своих приятелей, я был до бесконечности рад этой встрече. Рукопожатия и поцелуи были так крепки, что от лобызания с Митей Павловым у меня показалась на губах кровь.

Мой первый вопрос к Мите был:

— Где же наш Андрюша Ефремов?

В ответ я услышал сдавленный голос:

— Андрюша наш убит.

Велик был соблазн пойти с товарищами, но по причинам, указанным выше, я этого сделать не мог. Проводив сормовских демонстрантов, я поехал дальше до станции сормовской ветки. По пути в вагоне только и разговору у всех было, что о свободе. Особенно много и горячо говорил один парень в солдатской форме. Парня этого я знал, фамилия его была Анардович. Он же меня не узнавал. Рассуждая о манифесте и о свободах, он все время толковал о них применительно к солдатам.

— Что же это за свобода, когда весь произвол и унижение над солдатом остались прежние? Сегодня я вот не в казарме, а с вами, а завтра с винтовкой иду вас усмирять за то, что вы бастуете. Нет, это не дело. Раз все старое начальство осталось на своих местах, значит, хорошего не жди.

Анардович ехал домой на побывку, до военной службы сам он работал на Сормовском заводе, а родители его имели бакалейную лавочку.

Местом моего пристанища была попрежнему квартира Павловых. Встретили меня с необычайным восторгом. Все эти происходило 18 октября.

18 октября, должно быть, с обеда завод не работал. После митингов по цехам и общего митинга, кажется, в народной столовой, часть рабочих двинулась с демонстрацией в город, а другая разошлась, кто куда.

Не то было 19 октября. Часов около 9 утра в столовой начался уже митинг. Ораторы закатывали громовые речи, прерываемые нередко рукоплесканиями рабочих. У меньшевиков в то время был их лучший оратор по кличке «Бибель». Действия обеих эсдековских организаций были тогда объединенными. После митинга многотысячная масса двинулась демонстративно в Нижний. По дороге демонстрация численно все время росла. Красные знамена различной величины, иногда шириной во всю улицу, придавали демонстрации особенно значительный вид. Духовая музыка гремела, выполняя различные революционные песни. Без всякой давки, в полном революционном порядке демонстранты прошли деревни: Дарьино-Сельцо, Заря, Канавино и Нижний базар, поднявшись по Зеленскому съезду наверх в город. И в Канавине и в Нижнем внизу демонстрация на некоторых местах останавливалась. На каждой такой остановке с балконов говорили ораторы. Местами встреча сормовцев вызывала неописуемый восторг, сопровождавшийся шумными овациями. При появлении сормовских демонстрантов на Большой Покровке и на Благовещенской площади нижегородцы были в восторге. Крики: «Ура! Да здравствуют сормовцы! Ура! Ура!»

Летят туда и обратно красные банты. Снимают шапки, машут платками, хлопают в ладоши и снова: «Ура сормовцам». Потом через несколько секунд музыка играет «Марсельезу», все подхватывают. Знамена перемешиваются с городскими, и митинг начинается. Говорить пришлось одновременно с нескольких трибун, так как ни одному, ни двум ораторам всей массы присутствующих было не охватить.

Покойно и уверенно чувствовали себя все участники, так как уверены были, что раз сормовцы тут, то никто не посмеет сделать что бы то ни было. Ораторы говорили без помехи, прерываемые аплодисментами. На каждой трибуне говорило по несколько ораторов.

Часов в 5—6 митинг кончился. Сормовцы направились обратно в Сормово. Так же стройно, с музыкой добрались до набережной, к пристаням пароходов. Здесь было заявлено, что для сормовцев приготовлено два больших волжских пассажирских парохода и что сейчас начнется посадка. По этому случаю оркестр заиграл «Марсельезу», а публика подтягивала. Пароходы были переполнены. Когда тронулись в путь, музыка не прекращала играть, а по удалении от берега начались револьверные салюты. Дорога была веселой.

20-го завод к работе не приступил. В этот день были опять митинги как в Сормове, так и в других местах. В частности, в этот день многолюдная демонстрация сормовцев, пройдя по всему Сормову, дошла и до села Копосова. В первый раз жители Копосова увидели такое зрелище. До сих пор они видели только

крестные ходы с хоругвями или встречу и проводы каких-либо икон, а тут вдруг шествие с красными знаменами, а вместо попов какие-то ораторы. Старики и старухи не сомневались в том, что это антихрист пришел. Дойдя до церкви, демонстрация остановилась. Тут же на месте остановки против церкви с крыши крыльца сельской сборной были произнесены речи. Здесь говорил из ораторов также и «Бебель». Итак, день 20 октября прошел тоже в митингах и демонстрациях. В дальнейшем завод приступил к работе. Так было встречено 17 октября 1905 г. сормовцами, и так проведены были первые три дня свобод.

Самое интересное было не то, что имело место в эти первые три дня, а то, что было потом. Иначе говоря, не праздничная работа важна, сделанная парадными, а ценна и существенна работа будничных дней свободы, имевшая место со дня манифеста и до середины декабря. Кстати, надо сказать, за все эти дни ни в городе, ни тем более в Сормове полиция себя никак не проявляла, ни во что не вмешивалась.

За все предыдущее время у рабочих завода накопилось очень много неоплаченных заводом «векселей». С первых же дней все эти векселя стали рабочими предъявляться к оплате и все, что являлось возможным добиться для рабочих масс, одно за другим отвоевывалось. Все уволенные до сих пор по циркуляру за неблагонадежность с этого момента имели право занять свои прежние места. Заводская рабочая столовая прежде всего перешла в собственность рабочих организаций. До сих пор ведшаяся

безрезультатно борьба за передачу заводских школ в ведение рабочих на этот раз очень скоро увенчалась успехом. Главным деятелем в этом деле раньше и теперь был рабочий Шимборский. Это он всегда выступал по этому поводу на митингах, вел переговоры с попами и заводоуправлением. За свой громогласный голос Шимборский был прозван «ирихонской трубой». В течение октября по цехам роль делегатов, представителей всех рабочих цеха, выполняли выбранные рабочими представители; в число таких попадали, главным образом, партийные рабочие.

Партийная публика, конечно, была спаяна между собой и выступала очень организованно, так что влияние партийных на массу беспартийных было полное и весьма авторитетное. С ноября возник уже профсоюз. С возникновением последнего многие функции от партии перешли к профсоюзам. Дела это не меняло по сути, так как в руководящих органах профессиональных союзов были исключительно партийные товарищи.

Очень много было пощипано так или иначе мастеров, заведующих и других административных лиц во всех цехах. Некоторые сами постарались уйти, другие пытались оправдываться; третьи по требованию рабочих были уволены; четвертых вызывали на суд народа. Дело это обычно происходило на большом собрании. С трибуны выступали обвинители и обвиняемые. Последние в свое оправдание приносили письменные доказательства, приводили свидетелей и пр. С администраторами, отказывавшимися объясниться перед рабочими, поступали бесцеремонно: на них

набрасывали мешок, сажали на тачки и вывозили. От прежнего издевательства администрации над рабочими не осталось и следа. Все присмирели и стали вежливыми.

Партийные органы из подполья выбрались на свет божий. Столовая, которая перешла в ведение рабочих, стала центром всей жизни Сормова. Комитеты партии заняли для себя помещение там же. Работа руководящих органов партии, комитетов была колоссальной и ответственной. Нужно было всюду проявить максимум авторитета и влияния как на партийную, так и на беспартийную массу. Надо сказать, в действительности так и было: партийный авторитет и влияние на массы были максимальными. Этим и надо объяснить то, что дни свободы в Сормове были использованы во-всю и свободой пользовались как нигде. Что касалось выступлений общего характера, то таковые всегда решались объединенным комитетом с представителями эсдеков-большевиков, меньшевиков и эсеров. В этом смысле недоразумений почти не было, хотя фактического объединения не существовало у нас с меньшевиками. Что касается размеров влияния на массы и численности организации, то данные говорят за то, что самой влиятельной, а также и многочисленной была организация эсдеков-большевиков. Теперь я могу только приблизительно указать цифры членов всех трех организаций так: большевиков было от 500 до 600 членов, меньшевиков—от 350 до 450 членов и эсеров—от 200 до 300 членов. Местом для фракционных группировок служили клубы. Все три организации имели в рабочей столовой помещения под эти клубы,

в 2—3 комнаты с обстановкой. Заседания комитета, какой-либо комиссии и пр. происходили в помещении клуба же. Там же при клубе были библиотека и читальня с газетами, местными и столичными, партийными и буржуазными. Нередко после фракционных комитетских заседаний происходило заседание объединенного комитета, продолжавшееся до 2—3 часов утра.

Кроме фракционных клубов, был клуб женщин. Цель этого клуба была—вовлечь женщину в общественную жизнь. Клуб этот имел не малый успех. В нем читались популярные лекции на различные темы, и была также организована школа грамоты. Посещало этот клуб несколько сот человек, членами же записалось сто—двести. Клубу женщин удалось встряхнуть стоячее болото забитых домашних работниц. Посещавшие этот клуб проявили себя тем, что добились сокращения рабочих часов и повышения заработной платы. Были затрагиваемы и интересы хозяйские. Жены рабочих очень энергично реагировали на рыночные товарные цены, им удавалось цены эти устанавливать по-своему.

Создана была также организация безработных, которых в то время в Сермове было порядочное число, так как завод работал не полностью. Для безработных устраивались сборы, отчисления и пр.

В этой организации однажды имел место такой случай: избранный казначей истратил не по назначению деньги безработных. Для объяснений казначей был вызван на общее собрание безработных. Объяснения были чистосердечные: деньги казначей прогулял с «девицами», о чем и заявил собранию, раскаиваясь

в своем поступке. Собрание к такого рода поступку отнеслось очень строго. Особенно едко по адресу героя высказывались присутствовавшие на собрании женщины. Их критика была беспощадна. В результате сделать с казначеем ничего нельзя было, да и бессмысленно что-либо было делать. Решено было взыскать с казначея истраченную сумму по поступлении его на работу.

При комендантской в столовой имелось помещение для арестованных. Во многих пунктах Сормова была расставлена охрана. В качестве таковой стояли дружинники, называвшиеся милиционерами. Полиция с первых же дней свободы словно вымерла, на постах ее не было видно. Как-то само собой получилось, что власть перешла к рабочим организациям. При милиции существовало что-то вроде судебной комиссии. Попадавшие различного сорта нарушители порядка приводились к коменданту и сажались под арест. Дела таких преступников разбирались вначале комиссией, а потом преступники вместе с обвинительным материалом представлялись на суд народа. Обычно обвиняемый выставлялся на трибуну, чтобы он был виден всем. Сначала собранию делался доклад со стороны обвинения, а потом давалось слово обвиняемому и, если нужно было, то тут же выступали и свидетели. Нередко преступники пускались в слезы, признавая свою вину или отрицая ее. Таких гласных народных судов особенно боялись профессиональные воришки—для них это было хуже всякого наказания. Каждый воришка готов был скорее просидеть не один год в тюрьме, чем предстать пред

таким судом народа и не получить наказания в виде отбывания в тюрьме. И это было вполне понятно, так как после такого суда этим людям нигде нельзя было показаться; их, как известного сорта преступников, после такого суда знает масса людей, а потому каждый сторонится их и тем самым отнимает возможность совершать преступления.

Суд же обычный, существовавший до сих пор, предпочитался уголовными потому, что и на суде и после суда профессиональный вор и разбойник только и видел, что судью и тюремную администрацию. Преступники другого характера, случайные дебоширы и скандалисты, например, в нетрезвом виде, представ перед новым судом, чувствовали также себя очень скверно. Характерно в то же время было и то, что номинально числившаяся власть в лице полицейского пристава нередко направляла пойманных полицией воришек и других тоже в столовую на народный суд. Без всяких официальных признаний фактически власть рабочих была признана и полицией, и авторитет этой власти был очень высокий.

В столовой и раньше ставились спектакли и вечера, для чего в ней имелся большой зал и сцена. Все это было вполне использовано и в дни свободы. Каждый праздник и воскресенье ставился спектакль или концерт. Предприятия этого сорта устраивались организациями совместно или поочередно. Принцип распространения мест в театре был необычный, т. е. цены местам не назначались, смотря по удобству и близости к сцене, а цена всем местам была одна и та же, и всякий получал место в порядке очереди.

Такой демократический способ распределения мест в театре всем очень нравился, и он очень был подходящ для такого рабочего центра, каким являлось Сормово. Буржуазия в Сормове если и имелась, то только в лице заводской администрации и торговцев. Во время дней свобод вся эта прихлебательская челядь забралась в норы и почти не вылезала из них, дожидаясь лучшего для них времени, так что гнаться хотя бы за сбором денег за театр с буржуазии не было смысла. Артистами в театре выступали сами рабочие, большей частью любители, и, несмотря на это, играли очень хорошо.

Рабочая столовая всегда была предназначена только для рабочих. Заводская администрация, а с ними и служащие завода не посещали ее. Эти привилегированные господа имели куда лучшее помещение и с гораздо большими удобствами. К услугам этой «белой кости» заводоуправление выстроило достаточно большое и прочное здание, клуб служащих, недурно его обставив. Членом этого клуба по уставу рабочий не имел права быть. Огражденные таким образом от чумазных рабочих, господа на просторе гуляли и кутили в этом клубе. Оставить служащих господами этого клуба в то время, когда помещение и сцена так нужны были для рабочих, было очень зазорно. Ограничиться только столовой было невозможно, так как для всего нехватало помещений. Был поставлен вопрос о клубе служащих. Предложений, как завладеть им, было много. Итти открыто на захват его было не совсем удобно, а потому и решено было прибегнуть к следующему способу: с помощью наших

товарищей служащих, членов клуба, добиться изменения устава клуба, т. е. чтобы членом клуба мог быть и рабочий. По имевшимся данным можно было быть уверенным, что это удастся сделать. И, действительно, устав таким путем изменить удалось. Этим, можно сказать, было сделано почти все. Сейчас же в члены этого клуба рабочие повалили валом; через несколько дней большинство получилось за рабочими, и назначены были пере выборы правления клуба. Все нежелательные правленцы прежнего состава были вытряхнуты, а на место их вошли кандидаты, назначенные организациями. Итак, и в клубе оказалось засилие рабочих. Вместо бильярда и карт в нем стали процветать лекции, концерты, спектакли и т. д. Создано было нечто вроде партийной школы, читались серьезного характера лекции для более узкой группы рабочих и т. д. Рабочие успокоились, завоевав клуб, а то они страдали при виде происходивших там за их счет кутежей и увеселений.

Работа сормовской партийной организации не ограничивалась только одним Сормовым. Сормовские рабочие обслуживали также прилегающие районы; так, Затон, где было порядочно рабочих, всегда снабжался и ораторами и пропагандистами из Сормова, там имели место и многочисленные собрания, и создан был даже клуб. Затем береговой район с нефтяными складами и лесопилками, а также Варинский завод тоже обслуживались всецело сормовцами. Кроме того, существовала окружная организация, которая работала в деревнях. Крестьяне сами нередко приезжали за ораторами. Почва для работы

была благоприятная. В некоторых деревнях созданы были даже кружки из местных жителей, которые вели там постоянную работу. В селах Козине и Копосове работа велась довольно интенсивно. Школы этих сел в праздничные дни служили местом для собраний, при них же были образованы публичные библиотеки. Инициатором в этом из местных жителей была главным образом молодежь. Кулаки же от бешенства не знали что делать. Однажды был такой случай с одним из попов села Копосова: черносотенное кулачье поймало одного так называемого молодого попа и очень основательно избило его. Поп этот, в отличие от другого, так называемого старого попа, был немного либерален, хотя себя особенно не проявлял и тем не менее поплатился. Главным виновником этого события был вернее всего старый поп, который был отъявленным черносотенцем. Был и еще более возмутительный случай все в том же селе Копосове: очень энергично проявлял себя еще совсем молодой парень Павел Ястребов. Расправиться с молодежью черносотенцам Копосова очень хотелось; однако, открыто сделать они боялись и не решались на это, а нападали из-за угла. Жертвой такого подлого поступка черносотенцев и пал упоминаемый Павел Ястребов. Этот юноша-революционер был подстрелен в прямом смысле из-за угла. Рана была смертельной. Убийцей, хотя и не пойманным, по всем данным, был кулак села Копосова, некто Матвей Котов. Так обстояло дело в одном из ближайших к Сормову сел.

Никто не предполагал, что в дальнейшем все так же пойдет гладко и хорошо и что не потребуется

еще более серьезных и кровавых выступлений с оружием в руках; наоборот, все говорило о том, что более крупные события надвигаются, что царское самодержавие уже переходит в наступление. Ввиду этого у нас в Сормове боевая подготовка не только не ослаблялась в дни свободы, а еще более усилилась.

Руководящие партийные центры работали с наивысшим напряжением. Надо было справляться не с обычной маленькой дореволюционной подпольной работой, а с работой, в десятки раз расширившейся и осложнившейся.

Замечательно то, что две эсдековские фракции того времени в Сормове не расходились ни по одному из боевых вопросов. Если теоретические разногласия и имели место, то практически теория осуществлялась только большевистская. Для характеристики не лишне привести такой пример: еще в 1904 г. один из товарищей, по фамилии Окороков, а по кличке Копченый, попав на военную службу, с таковой бежал и попал за границу в качестве эмигранта. Находился он в Женеве — в самой гуще полит-эмиграции того времени. Раскол партии и всякие фракционные споры там-то и имели самые большие размеры. В октябрьские дни тов. Копченый из-за границы вернулся снова в Сормово. Он никак не мог поверить тому, что самые близкие прежние его товарищи сейчас — большевики, а не меньшевики, как он сам. Ему казалось, что это — просто какое-то недоразумение. Ведутся споры, каждый горячо доказывает свое. Тов. Копченый скоро увидел, что тут дело серьезное, что его противники, большевики достаточно хорошо разбираются во всех разногласиях

и хорошо вооружены всякими доводами. Способ доказать ошибку сормовцев-большевиков ссылкой на другие рабочие центры, где, якобы, большевики совсем не имеют успеха, и что рабочие всюду в большинстве стоят на меньшевистской позиции, тоже не помог. Очевидно, этим доводом меньшевистские дельцы убеждают только заграничную братию. Сам тов. Копченый тоже не перешел официально от меньшевиков к нам, большевикам, но фактически он был всегда с нами. Так было со многими меньшевиками-рабочими.

Как-то однажды газеты принесли сведения, что губернатором в Нижегородскую губ. назначается одесский палач Нейдгардт. Появление этого негодяя было очень нежелательно, а потому и было решено протестовать против назначения такого негодяя. С этой целью в Сормове в столовой был устроен митинг-протест. Народу на митинге было много. С зажигательной речью выступил тов. Андрей (Позерн). Его громовым голосом и горячими словами присутствовавшие были так воспламенены, что их можно было вывести куда угодно. После митинга решено было устроить демонстрацию, сомкнутыми рядами двинулись по улицам Сормова, все время продолжая петь революционные песни. Демонстрация была очень внушительной. Пройдя достаточно большое расстояние, в том же порядке вернулись обратно. Никаких помех демонстрации ни с чьей стороны не было проявлено; этим протест и был закончен. Трудно сказать, что подействовало, что было действительной причиной, но факт был налицо—Нейдгардт не приехал править Нижегородской губернией и до сих пор.

За время свобод в Сормове, как и всюду, появилось очень много новой, ранее нелегальной литературы. Распространение этой литературы было достаточно широко через организации; кроме того, издавна известным очагом по распространению литературы — книжным отделом потребилки — было распространено литературы еще больше. Туда шел каждый по старой памяти и получал все нужное. В этом отношении потребилка все время пребывания рабочих в правлении играла большую роль.

В течение всего периода дней свобод в заводе было несколько забастовок чисто экономического характера из-за повышения расценок, из-за договора о найме и пр.

В связи с обострением политической обстановки, вообще, в стране нужно было ждать дальнейших событий. То, что манифест 17 октября был удачным ходом для оттяжки действительно революционного переворота и для подготовки к кровавой расправе за попытку переворота, — это уже было ясно для каждого. Оправившись от внезапного натиска в октябрьские дни, правительство стало наворачивать потерянное с другой стороны. Душимые рабочие массы никак не могли помириться с тем, что их нагло обманули манифестом и еще больше, чем раньше, бьют нагайкой. Хотя в Сормове свободы не были еще отняты, все же разгул реакции по всей стране определенно говорил за то, что буря близка. В ожидании событий, чтобы как можно больше поставить правительству препятствий, решено было повести кампанию за бойкот бумажных денег и за требование с заводоуправления расплаты золотом.

События в то время шли и сменялись очень быстро. Вслед за нашей кампанией бойкота бумажных денег стали поступать сведения о начавшихся забастовках в различных местах России. Нижегородская железная дорога, хотя и не вся, тоже забастовала. Центр, как известно, призывал ко всеобщей забастовке. В смысле прямой помощи центру забастовка в Сормове пользы не могла принести. Как косвенная помощь и солидарность забастовка в Сормове для всего движения в целом никем не отрицалась. 8 и 9 декабря вопрос о забастовке в организации лихорадочно обсуждался. Разногласий по вопросу, быть ли забастовке, не было. Обсуждалось только, как целесообразнее это начать. Единодушно было решено забастовку начать в понедельник, 12-го, а 10-го, в субботу, призвать всех к изготовлению холодного оружия до пик, в сажень длиной, включительно.

Решение организации не осталось на бумаге. Лихорадочная деятельность по заготовке оружия была проявлена по всем цехам. Каждый мало-мальски живой человек приготовил для себя какое-либо оружие. Агитация за забастовку в массах велась и 9—11 декабря. В воскресенье, 11-го, на митингах в речах ораторов давались сведения о положении дел во всей России. Настроение было революционно-боевое. Неожиданностью от надвигающихся событий не веяло. Не только партийная масса, а и беспартийная инстинктивно чувствовала, что дело идет не к простой забастовке-стачке, а к чему-то большему, т. е. к битвам. Несмотря на такое настроение, решение было таково: забастовка объяв-

ляется политическая и с политическими же требованиями. Бросив работу, все собираются на площади у главных ворот внутри завода на митинг. После митинга пройти с демонстрацией к столовой. Никто не имеет права употреблять никакого оружия, если к тому не дано повода со стороны противника.

День намеченной забастовки наступил. Обычно все стеклись к работе, но к ней не приступили, а ждали призывного гудка. Около 8 часов утра гудок начал реветь с перерывами, как во время пожара. Массами вываливает рабочий люд из цехов. В цехах и около них партийная публика во всеуслышание объявляет, что сейчас состоится митинг перед главными воротами:

— Идите туда все.

Через несколько минут народу около главной проходной собралось несколько тысяч. Взобравшись на какую-то возвышенность, оратор «Бебель» начал речь. Излагая происходящие события во всей России и решение рабочего класса отвоевать себе полную политическую свободу, он сказал, что политические партии и профессиональные союзы призывают всех к политической забастовке за политическую свободу. Речь оратора была покрыта громом аплодисментов. Дальше говорили другие ораторы, сообщая решения партийных организаций и призывая их поддержать. Забастовка объявлялась как солидарность с московскими рабочими, срок ставился пока трехдневный. Руководство стачкой возлагалось на стачечный комитет, который был составлен из представителей партий и профессиональных союзов. О дальнейших шагах комитет обязан был извещать рабочих своевременно.

Все это было собранием принято. Дальше было решено пройти с демонстрацией к столовой и продолжить там митинг. Красные знамена реяли над собравшимися.

Выйдя из ворот завода, направились по Александроневской улице к главной улице. Демонстрация оказалась достаточно многолюдной. Пение революционных песен под такт стройных шагов демонстрантов во время демонстрации не прекращалось. Помех демонстрации ни около канцелярии пристава, ни дальше при выходе на шоссе на улицу со стороны полиции не было. Так дошли до поворота к столовой. Здесь повстречались с конным полицейским патрулем во главе с помощником пристава. Со стороны пристава было предложено демонстрантам разойтись. Такое требование исполнить было невозможно.

В этот момент кем-то был произведен выстрел. Вернее всего, выстрел этот был провокационным из рядов демонстрантов. Это и было поводом для обоюдной первой схватки. Пальба началась с обеих сторон. В результате с той и с другой стороны посреди улицы никого не оказалось. Полиция забралась в боковые улицы под защиту казаков. Наша демонстрирующая братия частью рассеялась по сторонам улицы, частью разбежалась, и многие пришли в столовую. Со стороны выстроенных в лесочке, недалеко от столовой, казаков нам в столовую был передан ультиматум: через пять минут разойтись, а иначе начнется обстрел. Стаечный комитет срочно обсудил предъявленный ультиматум и постановил разойтись. Как только начали расходиться, засвистали пули. Все прилегли к земле и дальше ползком рассеялись, кто куда.

Одержавшие победу казаки и полиция после этого вышли на Шоссейную улицу в том месте, где проходит Соборная улица, и во все стороны начали время от времени стрелять то начками, то поодиночке. Другая часть казаков решила занять столовую. В столовой кое-кто еще оставался. Всем было предложено уйти.

Новые хозяева тотчас же начали в столовой распорядиться по-своему. Во всем они видели крамолу, а потому, что бы ни подвернулось под руку, все рубили, ломали и пр. Стрельба по всем направлениям происходила весь этот день. Очевидно, напившись пьяными, казаки занимались как-будто спортом, выслеживая себе жертвы и подстреливая кого попало из проходящих через улицы. Так было убито и ранено несколько человек, в том числе какой-то извозчик и мальчик. Одним словом, тешились, как хотели. Что делать дальше, пока никто не указывал, но все ждали распоряжения. Хозяевами положения чувствовали себя полиция и казаки не во всем поселке Сормове, а только в центре его—в районе столовой и в улицах, прилегающих к стенам завода,—дальше они боялись, очевидно, лазить, а там-то и происходила деятельная работа революционных сил.

Комитеты организации, а также и стачечный комитет, состоявшие из одних и тех же лиц, обсуждали вопрос: как быть дальше? Решения определенного, по правде сказать, этот ответственный орган не дал. Его лозунгом было: «будьте в боевой готовности»—это, главным образом, относилось к боевикам.

Под вечер полиция с казаками кое-где около себя стали производить обыски. Интересный подход у них

был к квартире Чугурина и Савина. Просто пойти в этот дом, как и в обыкновенную квартиру, они не решались. Эта квартира им была очень хорошо известна. Расчетов на то, что их никакие неожиданности там не встретят, они не имели, а потому и приняли меры предосторожности. Первое, что ими было сделано, это то, что они весь дом обстреляли, выпустив очень много патронов. Ответа никакого не было, и все-таки они боялись идти внутрь дома и посмотреть, что там есть. Наконец нашлись четыре смельчака: двое полицейских, один из которых был известен своим усердием в охоте за политикой—Кемаев — и другой, тоже очень храбрый—Романов — и два казака. Все четверо направились в дом, а оставшиеся на улице выстроились кругом дома.

Чугурин и Савин жили во втором этаже дома.

Когда четыре добровольца вошли наверх и толкнулись в дверь, то, оказалось, что дверь была заперта. На стук в дверь кто-то ответил тем, что отпер запор, и «гости» вошли. Не дав разобраться пришельцам в обстановке, очевидно, Ваней Савиным в этот момент была брошена не то с чердака, не то из-за двери бомба. Стоявшая около дома охрана, услышав взрыв, с испугу разбежалась в разные стороны, а полицейский Романов и один казак были убиты, Кемаев и второй казак были ранены. Савин оказался невредим, не потерял даже присутствия духа и, воспользовавшись замешательством, забрал у пострадавших оружие и задним ходом со двора благополучно ушел с места происшествия. Пришедшая в себя охрана вернулась к исполнению своих обязанностей.

Со всех сторон началась пальба в крамольный дом; стреляли, сколько хотели, кажется, в решето превратили дом, тем более, что он был деревянный. Натешившись стрельбой извне, пошли внутрь, произвели тщательный осмотр всем уголкам. На чердаке в карнизе нашли одного человека, это был мальчик лет 15, по фамилии Ляпин (брат одного хорошего партийного сормовского рабочего). Вытащив эту жертву на улицу, не знали, что с ним сделать; предложений всяких было много. Один говорил: «Бей его до смерти, как собаку»; другие были готовы разорвать его на части, а третьи предлагали посадить на штык и т. д. Все же каким-то чудом он остался жив. Очевидно, опомнились, что расправа над невинной жертвой удовлетворит только их зверские инстинкты, и это все, а потому и отпустили этого мальчика. На этот раз зверье осталось, таким образом, разъяренным, но не удовлетворенным.

После разгрома квартиры Чугурина и Савина наступила ночь. Положение оставалось все еще таким, что казаки с полицией хозяйничали только в районе от столовой до завода и в заводе через Дарьинскую проходную. Весь же остальной район был свободен от какой бы то ни было полиции. После случая в квартире Чугурина рвение этих господ еще поубавилось.

Что же делали рабочие в это время? В чем проявлялась деятельность организаций и их органа—стачечного комитета? На эти вопросы ответить нужно так: руководящий орган все время решал вопрос, как быть дальше; организованные рабочие находились в лихорадочном ожидании решения «что делать» от

своего органа. Этого же ждали все рабочие. Однако менее терпеливыми оказались беспартийные массы. Они именно были зачинщиками того, что случилось потом. Проявленный рабочими самопочин как бы помог руководящим органам принять такое же решение или, вернее, санкционировать начинание рабочих. Вооружившись пилами, топорами и пр., начали строить баррикады. Телеграфные столбы спиливались и стаскивались для постройки баррикад, телеграфная проволока шла на всевозможные заграждения. Отовсюду стаскивали бревна, камни и т. д. и то же употребляли для баррикад. Итак, к утру 13 декабря улицы Сормова покрылись баррикадами. Центром сосредоточения наших революционных сил был район по Большой улице против Александро-Невской улицы. Как раз, где Александро-Невская улица выходила на Большую улицу, находилась большая каменная школа. Вот она-то и явилась нашей крепостью. Пока ночью с 12-го на 13-е кипела работа по постройке баррикад и сооружению всевозможных заграждений, в это время кипела и другая, относящаяся к тому же, работа.

Рабочие, более или менее ответственные, полностью были заняты подготовкой, доставкой и приведением в готовность боевых средств и сил. Раз баррикады выросли, то их надо защищать не голыми руками. Вот один из штрихов этой ночной работы, как раз в том месте, где господами положения были неизвестно кто—мы или они, так как это было по середине того пространства, которое отняли наши враждебные силы; в квартире служащей лавки общества потребителей Н. В. Казанской собрались мы для того,

чтобы приготовить бомбы. Надежда Васильевна Казанская у полиции была вне подозрения, так как сама вращалась среди высшей заводской администрации. Поздно ночью Т. В. Кабров и я пришли к Казанской с корзиной оболочек бомб и с массой для начинки их. В это время у Казанской кто-то из товарищей уже был. У всех настроение было самое деловое.

Как только мы вошли, так сейчас же сообщили цель нашего прихода и посвятили их в то, что сейчас происходит на улицах. Казанская, хотя и боялась, но не отказала нам в предоставлении своей квартиры для такого опасного дела. Единственно, что она сказала: «Будьте осторожны, а то и вас постигнет участь Андриюши Ефремова». Мы устроились в зале, рассыпав на бумагу массу, приготовленную раньше, и принялись насыпать ее в оболочки бомб, заложив запальники и закрыв крышкой осторожно отставленную в сторону каждую готовую штуку. Покончив эту работу, понесли это все на место действия; дело уже было по утру. К утру школа представляла собой вооруженную крепость. Наши боевики под руководством своего начальника П. Мочалова несли бдительно свою службу. В качестве оружия у нас имелось все, включая, «артиллерию». Артиллерия наша состояла из одной действующей пушки в полтора—два дюйма. Механизм ее был приспособлен для правильной стрельбы, приготовлена она была рабочими же на заводе. Кроме того, в различных местах было заложено несколько фугасов. К бою до некоторой степени были готовы. Как только наступил день, со стороны казаков и полиции была сделана попытка на нас наступать, но

попытка эта с успехом была остановлена нашим встречным огнем.

В тот же день была вторая попытка взять нас, но также безуспешно. Видно было, что взять нас своими силами казаки с полицией не могут. Надо было предполагать, что к ним явится подкрепление. Пока настроение у нас всех было хорошее. Попытки взять нас обошлись без жертв с нашей стороны, но с жертвами—с другой. Это еще более ободрило нас. Наша связь с городом была в то же время очень затруднительной. Помощь нашим врагам могла притти из двух мест: из Нижнего и из Балахны, туда и сюда дороги были под нашей разведкой. Весь день 13 декабря прошел в упомянутых стычках и в налаживании более солидной боевой силы. Кругом в районе нашего расположения были созданы пункты Красного креста. Это было сделано санитарным отрядом, работа в котором кипела во-всю. Жены и сестры рабочих охотно шли в сестры милосердия и выполняли свои обязанности героически. Наступила вторая боевая ночь с 13-го на 14-е. В эту ночь с нашей стороны было сделано несколько вылазок с различными целями. Одеваясь в белые, шитые из простынь халаты, боевики ходили в район расположения неприятеля, доходили чуть ли не до самых казарм, не встречая врага. В эту же ночь в канцелярию пристава нашей разведкой была брошена в окно бомба, которая там разорвалась, но кто и что от этого пострадал—не знаю. Поутру 14 декабря разведка принесла известие, что из Нижнего пришла артиллерия. Раз так, то надо было ждать бомбардировки. Соответственно с этим

были произведены кое-какие изменения в нашей группировке сил. Все лишнее было убрано из школы, чтобы не было напрасных жертв. Отдельные выстрелы не переставали раздаваться в разных местах.

Дух сормовцев при известии, что пришла артиллерия, не пал ничуть. Все весело ждали начала действия, а пока что занимали свои посты. Отлучек домой или еще куда-нибудь не полагалось. Что касается питания, то в этом на баррикадах недостатка не было. Отовсюду таскали, кто что мог, и съестное и курево, так что в этом отношении дело обстояло хорошо. Наступать нам самим на неприятеля, не дожидаясь, когда он начнет это делать, было невозможно, так как наше вооружение состояло только в незначительной своей части из солдатских винтовок, а остальное было: берданки, охотничьи ружья и прочая ерунда; обороняться же, стоя за прикрытием, другое дело—это было возможно и с успехом делалось.

Но вот артиллерия начала действовать. Первый выстрел куда-то перелетел, а потому и не причинил никакого вреда. Этим сигналом все были поставлены на ноги. В ответ на этот выстрел наша артиллерия заработала. Прицел нашей пушки был очень правильный, так что он заставил неприятеля переменить позицию. Второй заряд неприятеля попал в помещение школы и несколько человек ранил. За вторым последовал третий и т. д.; наша артиллерия тоже действовала не безуспешно. Вместе с этим началась пальба и из винтовок. Из помещения школы всем пришлось уйти и встать за баррикады. Одним из первых выстрелов был убит комендант школы — фамилии его

не помню. От обстрела школы враг перешел к обстрелу баррикад и вместе с этим повел наступление пехотой. Силы были не равны. Видно было, что нам не устоять, все же продолжали наносить врагу удары, стреляя, главным образом, с боковых позиций, из-за прикрытия домов. К вечеру баррикады и школу пришлось оставить. Полицейские и казаки, добравшись до школы, почувствовали себя еще раз победителями. Забравшись на крыши заводских зданий и колоколен, они все время обстреливали улицы Сормова. Жертв во всей этой схватке у нас было сравнительно очень мало. Я помню раненого тов. Чукулаева и тов. Савину, сестру Вани Савина. Она была ранена в ноги и очень сильно. Получила заражение крови, и в страшных муках она вскоре умерла.

Несмотря на такую победу, полиция дальше школы опять-таки не пошла. Наше отступление состояло в том, что мы разошлись по району, оставшемуся в нашем распоряжении. Места, где бы мы сконцентрировались, у нас не было. Ночь на 15-е ознаменовалась пожаром. Горела та самая знаменитая столовая, которая так часто упоминалась. Обрадованные успехами в борьбе с нами, полиция и казаки решили, очевидно, на всякий случай лучше сжечь этот притон крамолы и сожгли.

15 декабря дело обстояло все так же, как и накануне вечером. Руководящий орган должен был решить, что делать дальше. 15-го же поступили сведения из села Копосова о том, что там кулаки, собравшись на сход, выносят приговоры о выселении революционной молодежи и хотя́т над ними учинить

расправу. Решено было туда послать отряд. Под командой самого Мочалова туда отправилось человек 15. Я тоже ходил как знающий там всех и все. Придя к сборной и окружив ее, мы там застали как раз собрание кулаков вместе с урядниками. Как только они нас увидели, так сейчас же бросились бежать, только угроза, что в убегающих будут стрелять, остановила их. Цель нашего посещения была только поугубить кулачье. Это и было сделано. Ответственными органами решено было дальнейшую вооруженную борьбу не вести в виду полной ее бесцельности, так как шансов на успех уже не было. Ликвидировать же то, что произошло, надо было с наименьшими жертвами. Ввиду такого положения дела, все, кому угрожала опасность быть арестованным и привлеченным за участие в восстании, должны были, хотя бы временно, убраться. Так большинство и поступило.

Мало-по-малу полиция смелела. Начались массовые обыски. Скоро все Сормово было во власти их. При обысках и облавах из зачинщиков и вообще из активных революционных деятелей никто не попался. Арестовать пришлось публику или совсем невинную или чуть-чуть причастную к восстанию. Через несколько дней было объявлено, что завод открывается и работы начинаются. Ввиду такого объявления рабочие потянулись на работу. В действительности оказалось, что это была только провокация. Полиция с казаками в день выхода на работу стояла в проходных и идущих на работу останавливали. Остановив, она прежде надругалась над рабочими, а потом отпускала, якобы,

домой. Вернувшийся рабочий, отойдя шагов 20—30, пристреливался. Так был убит и рабочий Шимборский.

Н. В. Казанская была тоже арестована, несмотря на то, что была вне подозрения. Случилось это потому, что муж прислуги Казанской—рабочий завода—как-то проговорился о том, что было у Казанской на квартире. Его за это и взяли в переделку, избили до полусмерти, добиваясь от него показаний. Это и послужило поводом к аресту Казанской, которая и просидела в тюрьме несколько недель.

Все же дело о сормовском вооруженном восстании закончилось судебным процессом. Число обвиняемых на суде было очень небольшое, а активных участников восстания—еще меньше. Самым строгим приговором был «рабочий дом».

Несмотря на то, что восстание в Сормове кончилось без жертв, однако сормовская партийная организация была совсем обескровлена тем, что ее активные члены должны были уехать. С тех пор революционная работа в Сормове хотя и велась и во время выборов во II Государственную думу приняла широкие размеры, но все же того, что было до декабрьского восстания, больше уже не было.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Григорий Николаевич Котов (краткая биография)	
<i>Л. Сталь</i>	3
I. Детство	13
II. Вступление в семью рабочих	16
III. Тюремное крещение	27
IV. После тюрьмы	42
V. Весна и лето 1905 г.	56
VI. В полугодовщину 9 января	60
VII. Второй раз в тюрьме	74

50

12/1/20

